

Альберт Лиханов Последние холода

Посвящаю детям минувшей войны, их лишениям и вовсе не детским страданиям. Посвящаю нынешним взрослым, кто не научился верить свою жизнь истинами военного детства. Да светят всегда и не истают в нашей памяти те высокие правила и неумирающие примеры, – ведь взрослые всего лишь бывшие дети.

Автор

Вспоминая свои первые классы и милую сердцу учительницу, дорогую Анну Николаевну, я теперь, когда промчалось столько лет с той счастливой и горькой поры, могу совершенно определенно сказать: наставница наша любила отвлекаться.

Бывало, среди урока она вдруг упирала кулачок в остренький свой подбородок, глаза ее туманились, взор утопал в поднебесье или пронесился сквозь нас, словно за нашими спинами и даже за школьной стеной ей виделось что-то счастливо-ясное, нам, конечно же, непонятное, а ей вот зримое; взгляд ее туманился даже тогда, когда кто-то из нас топтался у доски, крошил мел, кряхтел, шмыгал носом, вопросительно озирался на класс, как бы ища спасения, испрашивая соломинку, за которую можно ухватиться, – и вот вдруг учительница странно затихала, взор ее умягчался, она забывала ответчика у доски, забывала нас, своих учеников, и тихо, как бы про себя и самой себе, изрекала какую-нибудь истину, имевшую все же самое к нам прямое отношение.

– Конечно, – говорила она, например, словно укоряя сама себя, – я не сумею научить вас рисованию или музыке. Но тот, у кого есть божий дар, – тут же успокаивала она себя и нас тоже, – этим даром будет разбужен и никогда больше не уснет.

Или, зарумянившись, она бормотала себе под нос, опять ни к кому не обращаясь, что-то вроде этого:

– Если кто-то думает, будто можно пропустить всего лишь один раздел математики, а потом пойти дальше, он жестоко ошибается. В учении нельзя обманывать самого себя. Учителя, может, и обманешь, а вот себя – ни за что.

То ли оттого, что слова свои Анна Николаевна ни к кому из нас конкретно не обращала, то ли оттого, что говорила она сама с собой, взрослым человеком, а только последний осел не понимает, насколько интереснее разговоры взрослых о тебе учительских и родительских нравоучений, то ли все это, вместе взятое, действовало на нас, потому что у Анны Николаевны был полководческий ум, а хороший полководец, как известно, не возьмет крепость, если станет бить только в лоб, – словом, отвлечения Анны Николаевны, ее генеральские маневры, задумчивые, в самый неожиданный миг, размышления оказались, на удивление, самыми главными уроками.

Как учила она нас арифметике, русскому языку, географии, я, собственно, почти не помню, – потому видно, что это учение стало моими знаниями. А вот правила жизни, которые учительница произносила про себя, остались надолго, если не на век.

Может быть, пытаюсь внушить нам самоуважение, а может, преследуя более простую, но важную цель, подхлестывая наше старание, Анна Николаевна время от времени повторяла одну важную, видно, истину.

– Это надо же, – говорила она, – еще какая-то малость – и они получат свидетельство о начальном образовании.

Действительно, внутри нас раздувались разноцветные воздушные шарик. Мы поглядывали, довольные, друг на дружку. Надо же, Вовка Крошкин получит первый в своей жизни документ. И я тоже! И уж, конечно, отличница Нинка. Всякий в нашем классе может получить – как это – *свидетельство* об образовании.

В ту пору, когда я учился, начальное образование ценилось. После четвертого класса выдавали особую бумагу, и можно было на этом завершить свое учение. Правда, никому из нас это правило не подходило, да и Анна Николаевна поясняла, что закончить надо хотя бы семилетку, но документ о начальном образовании все-таки выдавался, и мы, таким образом, становились вполне грамотными людьми.

– Вы посмотрите, сколько взрослых имеет только начальное образование! – бормотала Анна Николаевна. – Спросите дома своих матерей, своих бабушек, кто закончил одну только начальную школу, и хорошенько подумайте после этого.

Мы думали, спрашивали дома и ахали про себя: еще немного, и мы, получалось, догоняли многих своих родных. Если не ростом, если не умом, если не знаниями, так образованием мы приближались к

равенству с людьми любимыми и уважаемыми.

– Надо же, – вздыхала Анна Николаевна, – какой-то год и два месяца! И они получают образование! Кому она печалилась? Нам? Себе? Неизвестно. Но что-то было в этих причитаниях значительное, серьезное, тревожащее...

* * *

Сразу после весенних каникул в третьем классе, то есть без года и двух месяцев начально образованным человеком, я получил талоны на дополнительное питание.

Шел уже сорок пятый, наши лупили фрицев почему зря, Левитан каждый вечер объявлял по радио новый салют, и в душе моей ранними утрами, в начале не растревоженного жизнью дня, перекрещивались, полыхая, две молнии – предчувствие радости и тревоги за отца. Я весь точно напряжился, суеверно отводя глаза от такой убийственно-тягостной возможности потерять отца накануне явного счастья.

Вот в те дни, а точнее, в первый день после весенних каникул, Анна Николаевна выдала мне талоны на доппитание. После уроков я должен идти в столовую номер восемь и там пообедать.

Бесплатные талоны на доппитание нам давали по очереди – на всех сразу не хватало, – и я уже слышал про восьмую столовку.

Да кто ее не знал, в самом-то деле! Угрюмый, протяжный дом этот, пристрой к бывшему монастырю, походил на животину, которая распласталась, прижавшись к земле. От тепла, которое пробивалось сквозь незаделанные щели рам, стекла в восьмой столовой не то что заledenели, а обросли неровной, бугровой наледью. Седой челкой над входной дверью навис иней, и, когда я проходил мимо восьмой столовой, мне всегда казалось, будто там внутри такой теплый оазис с фикусами, наверное, по краям огромного зала, может, даже под потолком, как на рынке, живут два или три счастливых воробья, которым удалось залететь в вентиляционную трубу, и они чирикают себе на красивых люстрах, а потом, осмелев, садятся на фикусы.

Такой мне представлялась восьмая столовая, пока я только проходил мимо нее, но еще не бывал внутри. Какое же значение, можно спросить, имеют теперь эти представления?

Объясню.

Хоть и жили мы в городе тыловом, хоть мама с бабушкой и надсаживались изо всех сил, не давая мне голодать, чувство несытости навещало по многу раз в день. Нечасто, но все-таки регулярно, перед сном, мама заставляла меня снимать майку и сводить на спине лопатки. Ухмыляясь, я покорно исполнял, что она просила, и мама глубоко вздыхала, а то и принималась всхлипывать, и когда я требовал объяснить такое поведение, она повторяла мне, что лопатки сходятся, когда человек худ до предела, вот и ребра у меня все пересчитать можно, и вообще у меня малокровие.

Я смеялся. Никакого у меня нет малокровия, ведь само слово означает, что при этом должно быть мало крови, а у меня ее хватало. Вот когда я летом наступил на бутылочное стекло, она хлестала, будто из водопроводного крана. Все это глупости – мамыны беспокойства, и если уж говорить о моих недостатках, то я бы мог признаться, что у меня с ушами что-то не в порядке – частенько в них слышался какой-то дополнительный, кроме звуков жизни, легкий звон, правда, голова при этом легчала и вроде бы даже лучше соображала, но я про это молчал, маме не рассказывал, а то выдумает еще какую-нибудь одну дурацкую болезнь, например малоушие, ха-ха-ха!

Но это все чепуха на постном масле!

Главное, не покидало меня ощущение несытости. Вроде и наемся вечером, а глазам все еще что-нибудь вкусенькое видится – колбаска какая-нибудь толстенная, с кругляшками сала, или, того хуже, тонкий кусочек ветчины со слезинкой какой-то влажной вкусности, или пирог, от которого пахнет спелыми яблоками. Ну да не зря поговорка есть про глаза ненасытные. Может, вообще в глазах какое-то такое нахальство есть – живот сытый, а глаза все еще чего-то просят.

В общем, вроде и поешь крепенько, час всего пройдет, а уж под ложечкой сосет – спасу нет. И опять жрать хочется. А когда человеку хочется есть, голова у него к сочинительству тянется. То какое-нибудь невиданное блюдо выдумает, в жизни не видал, разве что в кино «Веселые ребята», например целый поросенок лежит на блюде. Или еще что-нибудь этакое. И всякие пищевые места, вроде восьмой столовой, тоже человеку могут воображаться в самом приятном виде.

Еда и тепло, ясно всякому, вещи очень даже совместимые. Поэтому я воображал фикусы и воробьев. Еще я воображал запах любимой моей гороховицы.

Однако действительность не подтвердила моих ожиданий.

Дверь, ошпаренная инеем, поддала мне сзади, протолкнула вперед, и я сразу очутился в конце очереди. Вела эта очередь не к еде, а к окошечку раздевалки, и в нем, будто кукушка в кухонных часах, появлялась худая тетка с черными и, мне показалось, опасными глазами. Глаза эти я заметил сразу – были они огромными, в пол-лица, и при неверном свете тусклой электрической лампочки, смешанном с отблесками дневного сияния сквозь оплывшее льдом оконце, сверкали холодом и злобой.

Столовая эта была устроена специально для всех школ города, поэтому, ясное дело, очередь тут стояла детская, из мальцов и девчонок, притихших в незнакомом месте, а оттого сразу вежливых и покорных.

«Здрассь, тетя Груша», – говорила очередь разными голосами – так я понял, что гардеробщицу зовут именно этим именем, и тоже поздоровался, как все, вежливо назвав ее тетей Грушей.

Она даже не кивнула, зыркнула блестящим вороньим глазом, кинула на барьерчик жестяной, скрежетнувший номерок, и я очутился в зале. С моими представлениями совпали только размер и воробьи. Они сидели не на фикусах, а на железной перекладине под самым потолком и не щебетали оживленно, как щебетали их собратья на рынке, неподалеку от навозных катышей, а были молчаливы и скромны.

Дальнюю стену столовой прорезала продолговатая амбразура, в которой мелькали белые халаты, но путь к амбразуре преграждала деревянная, до пояса, загородка унылого серо-зеленого, как и вся столовая, цвета. Чтобы забраться за загородку, надо было подойти к крашеной тетке, восседавшей на табуретке перед фанерным коробом с прорезями: она брала талончики, привередливо разглядывала их и опускала, как в почтовые ящики, в щелки короба. Вместо них она выдавала дюралевые кругляши с цифрами – за них в амбразуре давали первое, второе и третье, но еда была разная, видно, в зависимости от талончиков.

Взгромоздив на поднос свою долю, я выбрал свободное место за столиком для четверых. Три стула уже были заняты: на одном сидела тощая, с лошадиным лицом, пионерка, класса так из шестого, два других занимали пацаны постарше меня, но и помладше пионерки. Выглядели они гладко и розовощеко, и я сразу понял, что пацаны гонят наперегонки – кто быстрее съест свою порцию. Парни часто поглядывали друг на дружку, громко чавкали, но молчали, ничего не говорили – состязание получалось молчаливое, будто, тихо сопя, они перетягивали канат: кто кого? Я поглядел на них, наверное, слишком внимательно и чересчур задумчиво, выражая своим взглядом сомнение в умственном развитии пацанов, так что один из них оторвался от котлеты и сказал мне невнятно, потому что рот у него был забит едой:

– Лопай, пока не получил по кумполу!

Я решил не спорить и принялся за еду, изредка поглядывая на гонщиков.

Нет, что ни говори, а еду эту можно было только так и прозвать – дополнительное питание. Уж никак не основное! От кислых щей сводило скулы. На второе мне полагалась овсянка с желтой лужицей растаявшего масла, а овсянку я не любил еще с довоенных времен. Вот только третье обрадовало – стакан холодного вкусного молока. Ржаную горбуху я доел с молоком. Впрочем, я съел все – так полагалось, даже если еда, которую дают, невкусная. Бабушка и мама всю мою сознательную жизнь настойчиво учили меня всегда все съесть без остатка.

Доел я один, когда и пионерка и пацаны ушли. Тот, который победил, проходя мимо, больно щелкнул меня все-таки по стриженной голове, так что молоком я запивал не только кусок ржаного хлеба, но еще и горький комок обиды, застрявший в горле.

Перед этим, правда, был один момент, в котором я толком ничего не понял, разобравшись во всем лишь на следующий день, через целые сутки. Победив соперника, гладкий парень скатал хлебный шарик, положил его на край стола и чуть отодвинулся. Задрав голову, пацаны посмотрели вверх, и прямо на стол, точно по молчаливой команде, слетел воробей. Он схватил хлебный кругляш и тут же убрался.

– Повезло ему, – хрипло сказал чемпион.

– Еще как! – подтвердил проигравший.

У чемпиона оставалась хлебная корка.

– Оставить? – спросил он приятеля.

– Шакалам? – возмутился тот. – Дай лучше воробьям!

Чемпион положил корку, но воробей, подлетевший тут же, не сумел ухватить ее. Тем временем

пацан, проигравший соревнование в еде, уже встал.

– Ну, ладно! – поднялся победитель. – Не пропадать же! – И запихнул корку в рот.

Щека у него оттопырилась, и вот с такой скособоченной рожей он прошел рядом со мной и щелкнул меня по макушке.

Я уже не озирался больше. Давясь, глядя в стакан, доел ржануху и пошел с номерком к тете Груше.

Не очень-то вкусным вышло дополнительное питание.

* * *

Школы учили ребятню в три смены, и потому восьмая столовка дополнительного питания пыхтела с утра до позднего вечера. На другой день я воспользовался этим: сразу после уроков в столовой очередь, да и вчерашних гладких парней встречать не хотелось.

Вот ведь гады! Я припоминал, как они соревновались, кто быстрее съест свой обед, силился представить их похожие лица, но ничего, кроме одинаковой гладкости, вспомнить не мог.

Словом, я погулял, побродил по улицам, и уж когда стало совсем голодно, переступил порог столовой. Народу к тете Груше не было совсем, она скучала в окошке раздевалки, а когда я принялся расстегивать пуговицы пальто, сказала вдруг:

– Не раздевайся, сегодня холодно!

Видно, на лице моем блуждало недоверие, а может, и просто недоумение – я еще никогда в жизни не ел по-зимнему одетым, и она улыбнулась:

– Да не бойся! Когда холодно, мы разрешаем.

Для верности стянув все-таки шапку, я вошел в обеденный зал.

В столовой был тот ленивый час, когда толпа едоков уже схлынула, а сами повара, известное дело, должны поесть до общего обеда, чтобы не раздражаться и быть добрыми, и поэтому по обеденному залу бродила дрема. Нет, никто не спал, не слипались глаза у поварих в амбразуре, и крашенная тетка возле короба сидела настороженная, напряженная, точно кошка, видать, еще не отошла от волнения ребячьей очереди, но уже и она напрягалась просто так, по привычке и без надобности. Еще малость – она притихнет и замурлычет.

Дреме было, понятно, неуютно в этой столовой. Ведь ей требуется всегда, кроме сытости, еще и тепло, даже духота, а в восьмой столовой стояла холодрыга. Похоже, дрова для котлов, чтобы еду сварить, еще нашлись, а вот обогреть холодный монастырский пристрой сил не достало. И все-таки дрема бродила по столовой – стояла тишина, только побрякивали ложки немногих едоков, из-за амбразуры медленно и нехотя выплывал белый вкусный пар, крашенная тетка, едва я подошел к ней со своим талончиком, смешно закатав глаза, протяжно, со стоном зевнула.

Я получил еду и сел за пустой столик. Есть в пальто было неловко, толстые стеганые рукава норовили заехать в тарелку, и, чтобы было удобней сидеть, я подложил под себя портфель. Другое дело! Теперь тарелки не торчали перед носом, а чуточку опустились, вернее, повыше очутился я, и дело пошло ходче.

Вот только еда сегодня оказалась похуже вчерашней. На первое – овсяный суп. Уж как я не хотел есть, уж как я не терпел овсяную кашу, одолеть суп из овсянки было для меня непомерное геройство. Вспоминая строгие лица бабушки и мамы, взывавшие меня к твердым правилам питания, я глотал горячую жидкость с жутким насилием над собой. А власть женской строгости все-таки велика! Сколь ни был я свободен здесь, в далекой от дома столовой, как ни укрывали меня от маминых и бабушкиных взоров стены и расстояние, освободиться от трудного правила было нелегко. Две трети тарелки выхлебал пополам с тоской и, вздохнув тяжело, помотав головой, как бы завершая молчаливый спор, отложил ложку. Взялся за котлету.

Как он присел напротив меня, я даже и не заметил. Возник без единого шороха. Вчерашний воробей нашумел куда больше, когда слетал на стол. А этот мальчишка появился точно привидение. И уставился на тарелку с недоеденным супом.

Я сначала не обратил на это внимания – меня тихое появление пацана поразило. И еще – он сам.

У него было желтое, почти покойницкое лицо, а на лбу, прямо над переносицей, заметно синела жилка. Глаза его тоже были желтыми, но, может, это мне только показалось оттого, что такое лицо? По крайней мере, в них что-то светилось такое, в этих глазах. Какое-то полыхало страшноватое пламя. Наверное, такие глаза бывают у сумасшедших. Я сперва так и подумал: у этого парня не все в порядке. Или он чем-то болен, какой-то такой странной болезнью, которой я никогда не видывал.

Еще он бросал странные взгляды. У меня даже сердце сжалось, слышно застучала кровь в висках. Мальчишка смотрел мне в глаза, потом быстро опускал взгляд на тарелку, быстро-быстро двигал зрачками: на меня, на тарелку, на меня, на тарелку. Будто что-то такое спрашивал. Но я не мог его понять. Не понимал его вопросов.

Тогда он прошептал:

– Можно я доем?

Этот шепот прозвучал громче громкого крика. Я не сразу понял. О чем он? Что спрашивает? Можно ли ему доесть?

Я сжался, оледенел, пораженный. Меня дома учили всегда все съесть, мама придумывала мне всякие малокровия, и я старался, как мог, но даже при крепком старании не все у меня выходило, хотя я и знал, что скоро снова засосет под ложечкой. И вот мальчишка, увидевший недоеденный противный суп, просит его – просит!

Я долго и с натугой выбирал слово, какое должен сказать пацану, и это мое молчание он понял по-своему, понял, Наверное, будто мне жалко или я еще доем эту невкусную похлебку. Лицо его – на лбу и на щеках – покрылось рваными, будто родимые пятна, красными пятнами. И тогда я понял: еще мгновение – и я окажусь свиньей, самой последней свиньей. И только потому, видите ли, что у меня не находится слов.

Я быстро кивнул. И потом еще кивнул раза три, но мальчишка уже не видел этих кивков. Он схватил мою ложку и быстро, в одно мгновение, доел овсяный суп.

После того как я кивнул, пацан больше не смотрел на меня. Ни разу не взглянул. Быстро съел суп и, спрятав глаза, двинулся от стола. Я посмотрел ему вслед. Пацан ушел в дальний угол столовой и только там обернулся. Он не глядел на меня, я, видно, уже не интересовал его. Он смотрел на зал, передергивая взгляд от одного столика, где кто-то ел, к другому. Рядом с ним, в углу, стояла маленькая девчонка.

Я доел котлету, выпил чай и слез с портфеля. Медленно, нарочно утишая шаг, я направился к выходу, украдкой, чтобы он не заметил этого, разглядывая пацана. Одет он был ничего, прилично, в серое пальто с черным собачьим воротником, такие, я знал, давали по ордерам в универмаге, и на девочке было точно такое же пальто, только, понятно, маленького размера, и я подумал, что, может, это детдомовские ребята – там одевают всех похоже, будто в форму.

Когда я совсем приблизился к мальчишке с его сестрой – какой же мальчишка в наше время мог стоять с девчонкой, если она не сестра? – маленькая быстро, точно мышь, шмыгнула к столу возле окна.

Там сидела большая девчонка, тонкая и бледная, как бумага. Она кивала маленькой головой. И когда та подбежала, подвинула ей половину котлеты с половиной картофельного пюре. Я задержался в дверях и увидел, что большая девчонка дала маленькой еще и хлеба. Она что-то шептала, маленькая, а большая девчонка говорила ей неслышные мне, но добрые слова – это сразу видно, что добрые, потому что, когда говорят добрые слова, в такт им кивают головой.

Меня осенило.

Так вот про каких шакалов говорили вчера гладкие парни!

* * *

Я шел домой и все думал: а я бы смог так? Ведь это небось стыдно. Да, наверное, и противно – доедать за другими. Еще и просить...

Нет, пожалуй, паренек с сестренкой не из детского дома, там ведь кормят исправно, а эти... Какими же надо быть голодными, чтобы отираться в столовке, доедать чужие куски, вылизывать чужие тарелки?

В детстве человечество не страдает риторикой. И этот вопрос, сколько дней надо голодать, чтобы попрошайничать в восьмой столовке, не был для меня вопросом ради вопроса. Я решил, что можно выдержать два дня. Да, два дня. На третий, каким бы ты ни был стыдливым, придешь, попросишь, взмолишься.

И все же я не мог представить такого стыда. Ясно кому угодно: просто так, без нужды, нормальный человек не станет попрошайничать. Но у мальчишки горели безумным светом глаза. «Может, все-таки он больной? – спрашивал я себя. – Ну а девчонка? Тоже больная?»

На всякий случай еще с вечера я стянул из буфета кусок хлеба, обернул его аккуратно газетой и положил в портфель.

Назавтра нас отпустили после четвертого урока. Пятым была физкультура, но Анна Николаевна болела ангиной – и так-то сидела с температурой, а тут еще надо идти во двор и выделять всякие упражнения. Прежде у нас тоже такое случалось, но тогда, видать, Анна Николаевна чувствовала себя получше и физкультуру заменяла каким-нибудь другим предметом, той же, к примеру, арифметикой, задавала задачи, а сама куталась в платок, ежилась, а наежившись, что-нибудь изрекала в конце урока: мол, кашу маслом не испортишь. Дескать, что там физкультура, разве можно ее сравнить с арифметикой, где лишний раз повторить – сущее благо.

Но тут она расклеилась совсем, говорила слабым голосом, а после звонка на пятый урок вместо нее в класс вошла Фаина Васильевна, наша директриса. Остановившись на пороге и понизив голос, она сказала, чтобы мы тихо и быстренько собирались и шли домой, потому что у Анны Николаевны температура.

Я пропустил в столовку и застал столпотворение. Змеей петляла очередь к тете Груше, но многие, не раздеваясь, шли прямо к тетке с коробом, ели в пальто, мест за столиками не хватало, и некоторые жевали даже стоя, пристроив тарелки на краешек занятого стола или на широкий монастырский подоконник.

Особенно много было малышей, и я понял, что сошлись две или, может, даже три смены. Маленькие, которых отпустили раньше, вторая смена ела, ясное дело, перед уроками, а из третьей пришли те, у кого, наверное, терпения не хватало. Я подумал и двинулся на приступ амбразуры одетым.

Когда ты невелик ростом, жить трудно. Тебя отталкивают, могут дать по макушке, подставить ножку, если ты спешишь, и зло обхохотать. Пока я стоял к тетке с коробом, пацаны побольше стали проходить вперед и, приметив девчонку или маленького пацана, запросто влезали перед ними. Даже не оборачивались, нахалюги, и, уж конечно, ничего не говорили в оправдание. И маленьким приходилось объединяться. Передо мной сперва был красноухий мальчишка, и я взял его за хлястик пальто, чтобы никто не ворвался между нами. Он только улыбнулся мне, показав пол-лица с кривыми зубами. Сам он держался за девчонку. Но когда мы приблизились к кассирше, между мной и красноухим влез длинный парень с большим горбатым носом. Он так нагло вклинился между нами, будто совсем и не замечал, что мы держимся друг за дружку. Я сразу присвоил ему кличку Нос.

– Э! – сказал я тихонько. А про себя добавил: «Нос!»

Длинный повернулся ко мне.

– Не рыпайся, – прошипел он, и на меня пахнуло таким ядреным махорочным духом, что я покорился.

А длинный махнул рукой и пропустил перед собой еще парней пять, не меньше, наглец такой.

От шайки этой перло, как из курительной комнаты где-нибудь в кинотеатре, они галдели, матюгались, правда понижая при этом голоса, толкались, и вообще, нестрашные, может, каждый поодиночке, вместе они были какой-то грубой и злой силой, с которой даже взрослые предпочитали не связываться.

Портфели эта банда свалила возле стенки, и никто из них ни разу не обернулся на свое добро. Я не завидовал таким шайкам, их тогда было много, чуть не в каждом дворе или даже классе – там царили несправедные законы, зло и несправедливость. Ладно бы, задевали других – они и своего могли запросто избить. Да что там, почти в каждой компании была своя шестерка – пацан, который считался вроде бы адъютантом самого сильного. Но были у шаек и свои привилегии. Они не боялись взрослых. Они не тряслись на каждом шагу, если были вместе. Они не озирались по сторонам и запросто могли свалить в кучу свои сумки. А я вот не мог даже такой малости. Я был одинок в этой столовке и крепко держал свою сумку, думая о том, как же потащу поднос с едой да еще портфель.

Это, конечно, удалось плохо, суп, на этот раз любимая гороховица, расплескался наполовину, я и остальное-то еле дотащил. Хорошо, хоть повезло с местом. Наконец я устроился. Неподалеку гоготала шайка – парни заняли столик, но двоим мест не досталось, и они ели стоя, наклоняясь к своим тарелкам за каждой ложкой, смешили остальных.

Мне досталось удобное место, в углу, да и вместо портфеля я устроился на собственной ноге, подтянув ее под себя, а нога была в большом валенке поэтому вся столовая открылась передо мной как на ладони.

Что же вокруг творилось! Я даже хохотнул – никогда я не видывал такого. Очередь к накрашенной тетке вилась между столами и заканчивалась возле гардероба, где опять, как кукушка, мелькала в своем окне черноглазая Груша.

А шум какой стоял! Такой гомон мог быть еще только на вокзале. Поезд вот-вот тронется, а люди не сели, да и в вагонах не хватает мест, и все колготятся, дергаются, а сделать ничего не могут. Народ в восьмой столовой тоже колготился и дергался. Грохали железные миски у раздавальщиц в амбразуре. Постукивали ложки о края мисок в обеденном зале. Мальчишки и девчонки разного роста и в разной одежке вставали, садились, ходили между столиков, говорили, смеялись, вскрикивали, носили подносы с едой и волокли их обратно, уже с пустой посудой. В такой толкотне отыскать желтолицего было не так-то легко. Да и пришел ли он сегодня? Мог ведь и не прийти. Или появиться позже.

Прихлебывая суп, я внимательно изучал столовую. И вдруг увидел, как к белобрысой девчонке, которая несла поднос, подскочил маленький мальчишка и схватил ее хлеб. Девчонка испуганно вскрикнула, едва не выпустила поднос, а парни из шайки захохотали:

– Молодец, шакаленок! – крикнул длинный.

– Шакалы! – пискнуло у меня под ухом.

Я повернулся. За моим столом сидела девчонка и еще два мальчишки, все младше меня. Давясь, они торопливо ели свою еду, да еще свободной рукой прикрывали миски, будто кто-то выхватит их сейчас.

– Второе-то не отнимут, – сказал я, стараясь их успокоить. – А суп и подавно!

Я старался улыбнуться, а веснушчатая и щербатая девчонка – из разговорчивых, видать, – прошепелявила сквозь картофельное пюре:

– Еще как отнимут!

– Прямо миску? – удивился я.

– Прямо миску! Я видела один раз, – прожевав, будто учительница, объяснила она, – как парень прямо из миски котлету выхватил и тут же съел! Даже не побежал!

Маленькие пацаны за нашим столом сильнее застучали ложками.

– Главное, – объясняла веснушка, – скорее суп съесть.

– Почему? – удивился я.

– Тогда только одна тарелка останется. Ее можно держать.

Двое мальчишек замирали, пока девчонка говорила, будто запоминали урок умной учительницы, но, как только она замолкала, просто грохотали ложками.

Я снова оглядел зал. И увидел наконец желтолицего. Он походил на охотника. Стоял в какой-то настороженной позе.

А щербатая девчонка не умолкала. Она добралась до компота и, видно, теперь не боялась, что ее ограбят. Вот и старалась.

– Есть, конечно, такие, которые по-хорошему просят, – сказала она и отпила компот. – На них и облавы устраивают. Ничего не помогает. – Она болтала ногами и уже не думала о страхе. – Но хуже всех маленьким приходится. И нам, девчонкам. А если ты маленький и девчонка, то вообще!

Едва она успела проговорить, как желтолицый, ловко огибая столик, кинулся навстречу еще одной маленькой девчонке с подносом и схватил хлеб.

Та, белобрысая, промолчала – видать, боялась и знала, как себя вести, – а маленькая завывала, точно сирена. В столовой сразу стало тихо, все обернулись к ней и желтолицему, и в этой тишине шакал молча, уверенно и быстро выскочил из столовой.

– Эт-та что такое опять? – закричала крашенная тетка, с грохотом захлопнула деревянный шлагбаум к амбразуре, вскочила со своего возвышения, заорала гардеробщице: – Груша, ты там сидишь, а тут опять воруют!

Парни за соседним столом загоготали, началась ссора между Грушей и крашеной, и все были на стороне Груши: ясное дело, уж кто сидит, так это крашенная, а гардеробщица, будто кукушка в часах, едва поворачиваться поспекает.

– Это я сижусь? – кричала Груша.

– А кто же? – отвечала ей крашенная.

– Посмотри, скоко народу!

– А у меня меньше? Тебе велено гнать всех этих... – Она притормозила, но не сдержалась и закончила: – Шакалов!

– Какие они шакалы?! – отчаянно крикнула Груша. – Голодные ребята, вот и все!

– Все голодные!

Девчонка, у которой украли хлеб, давно успокоилась и ела уже второе, а Груша и кассирша все еще переругивались, и тут очередь начала роптать. Сперва тихо, неуверенно прокатился в столовке какой-то шелест. Потом кто-то крикнул:

– Кончай базарить! Давай жрать!

Что тут началось!

Грубые и писклявые, девчачьи и мальчишечьи голоса слились в один протяжный, долгий крик:

– Жра-а-ать! Жра-а-ать!

Мне даже стало страшно. Крашенная тетка заозиралась, словно кошка в опасности, потом чего-то сообразила, что-то решила свое и быстро вернулась к коробу.

Из амбразур высовывались раздатчицы в белых косынках.

– Ну что? – спрашивали они. – Опять?

– Ничего! – громко, перекрывая гвалт, ответила крашенная и принялась принимать талончики.

Точно по команде, крик стих, снова забренчали ложки.

Столовка продолжала кормить малый народ.

* * *

– А девчонку-то зовут Нюрка, – объявил длинный, который оттер меня. – Она с нашего двора!

– У-у-у! – загудела остальная шайка.

– И этого шакала надо проучить, – сказал Нос.

Мне и в голову не пришло бы, что этот Нос борется за справедливость. Просто их много, вот и все. А тот, желтолицый, – неужели он только с сестрой?

Доев, я выскочил за шайкой Носа. Длинный уже разговаривал с желтолицым. Тот был один и стоял перед мальчишками, прижавшись к забору.

– Тебе не стыдно? – фальшивым голосом припевал Нос. – У маленькой! У девочки! Отнимать хлеб!

Я поразился. Желтолицый был совершенно спокоен. Казалось, еще мгновение, и он зевнет.

– Да мы, – куражился Нос, – да тебя! Сдадим в милицию, хулиган такой.

– Сдавайте, – устало мотнул головой пацан.

– Ну нет! – не растерялся Нос. – Это было бы слишком просто! И слишком, – он обернулся к своей шайке, – безболезненно.

Его банда хохотнула. Приятели дылды стояли вокруг желтолицего полукругом. И портфели их снова лежали горкой – руки свободны для драки.

Если бы для драки! Для избиения.

Итак, они стояли полукругом и были похожи на стаю, загнавшую зверя. «Вот кто шакалы-то», – подумал я, и в тот же миг Нос медленно и неуклюже, точно пробуя свои силы, ударил желтолицего в грудь. Тот не шелохнулся, не поднял рук, чтобы защититься, не уклонился от удара.

Нос сделал еще один выпад и отскочил. Я сразу понял, что этот длинный просто трус, а никакой не предводитель и драться-то он не умеет.

– Отойди! – предупредил желтолицый. – А то будет худо.

Нос фальшиво расхохотался. Было над чем. Шакал один, а приятелей длинного шестеро; всего семь. И один угрожает семерым.

Нос изловчился и ударил желтолицего, целя по челюсти. Парень снова не уклонился и не защитился; он принял удар с каким-то непонятным мне смирением. Но это смирение длилось всего секунду, не дольше. Желтолицый сглотнул кровь, а в следующий миг прыгнул, будто разжатая пружина, к Носу и обеими руками вцепился ему в горло. Первую минуту драка проходила в полной тишине. Приятели длинного отпрянули по сторонам, а он какое-то время валтузил желтолицего по корпусу. Но бить его было неловко, не с руки, не хватало пространства для размаха, удары не приносили шакалу никакого вреда, зато он мертвой хваткой вцепился в горло противника, и я увидел, как побелели, сделались похожими на снег костяшки его пальцев.

– Ну! Вы! Помогите! – крикнул, задыхаясь, Нос, и шестеро его подручных тоже неумело и невпопад принялись лупить желтолицего со спины.

Он не уворачивался, и ему пришлось бы худо, если бы он имел дело с настоящими драчунами. Но шайка Носа могла только хорохориться в столовой или где-нибудь в киношке на детском сеансе, могла громко ругаться и курить, а драться она не умела, и один решительный парень одолел их. Он молча сжимал горло длинного, тот крутанулся и раз, и другой, бухнулся на землю, увлекая за собой противника, и вдруг задрывал ногами – странно очень задрывал, по-взаправдашнему задрывал и захрипел из последних сил:

– Отпусти-и-и!

Его команда не на шутку испугалась, увидев, как Нос судорожно задрывал ногами, сбилась в кучу и притихла. Желтолицый лежал на противнике. Он с трудом, даже, кажется, с болью разжимал

собственные пальцы. На горле Носа темнели пятнышки – это были синяки! Ну и ну! Желтолицый дрался не на шутку. Еще немного, и он мог бы задушить длинного. Вот тут, возле столовки, посреди бела дня, да еще когда Нос не один, а с целой компанией помощников!

Такого я не видывал – ни до, ни после.

Желтолицый встал, с трудом поднимался и Нос. Неожиданно длинный заплакал. Он хрипел, что-то хотел сказать, но у него ничего не получалось, и я не мог понять, угрожает он или жалуется. Казалось, один желтолицый понимает его.

– А как же ты думал? – спросил он спокойно, даже добродушно. – Я ведь и убить могу.

Он проговорил это без всякой угрозы, но шайка Носа кинулась к своим сумкам и растворилась.

Нос остался один. Он просморкался, вытер рукавом свой горбатый нос, вроде привел себя в порядок, но не справился с собой. Снова заревел, но теперь уже по-другому, визжа не от боли, а от досады.

Он подобрал свою сумку, а поравнявшись со мной, пнул мой портфель.

За что? За то, что я был свидетелем? Но ведь драку видели многие. У входа в столовку скопилась настоящая толпа. Только никто не решался подойти близко.

Я стоял ближе всех.

* * *

Едва драка кончилась, как все разошлись. Остался один я. И желтолицый, конечно. Он подошел к забору, возле которого стоял перед дракой, и опять прислонился. Лицо его было таким, будто он вовсе и не дрался. «Вот это воля, надо же!» – восхитился я.

Два непохожих чувства боролись во мне – восхищения и отвращения.

Желтолицый был примерно одного класса с Носом, но ниже ростом, один, и его отчаянная, ни на что не похожая храбрость не могла не поражать. Но ведь этот человек отнял хлеб у девчонки в столовой. У маленькой к тому же девчонки, такой, как его сестра.

Что же значило это? И что еще, кроме отвращения, могло вызывать, какие чувства?

Я приготовил ему кусок хлеба, раз он такой голодный, я хотел отдать ему ломоть, завернутый в газету, но события так закрутились... Я не знал, что делать.

Желтолицый все стоял у забора, прислонившись, прикрыв глаза. Казалось, он ничего не видит. И даже не дышит.

И тут он упал. Не сразу, не как подкошенный, а вдруг закатил глаза и пополз вниз по забору.

Он неловко сел в снег, и голова его откинулась.

Ну, я перепугался!

Первое, что пришло мне в голову, – это коварство Носа. Наверное, подумал я, во время драки он всадил желтолицему шило в живот. Шпана военных лет обожала ходить с шилом, или с наточенным рашпилем, или с каким-нибудь железным прутком – не придерешься, не холодное оружие. Я подумал, что Нос ткнул желтолицего шилом, тот сперва терпел, а теперь вот свалился.

Я подбежал к мальчишке, потряс его за воротник – на большее не решился – и, бросив портфель, кинулся в столовую.

Народу в прихожей было поменьше, но все-таки много, и я закричал, перебивая шум, обращаясь к единственной, кого знал по имени, обращаясь без веры, что она поможет, очень уж черные и злые были у нее глаза, но я все равно кричал, потому что надо было как-то спасти желтолицего.

– Тетя Груша! – орал я благим матом, от страха не слыша самого себя. – Там парень упал! Шакал! Помира-а-ает!

– Такой желтолицый? – крикнула тетя Груша.

– Они там дрались, – заорал я в ответ, – и он потом упал.

Но тетя Груша несла какую-то чепуху.

– Чайк?у надо, – говорила она, высказывая из своего скворечника. – Сладкого чайку! – Потом кинулась в зал, к амбразуре, закричала: – Девочки, дайте чайку послаще! Да побыстрее!

– Опять? – спросила крашенная тетка.

– Опять! – ответила Груша.

Мелко семена, она мчалась по столовке, и все перед ней расступались, точнее, перед железной кружкой, над которой дымился парок и которую несла в вытянутой руке тетя Груша.

Я выскочил на улицу первым. Желтолицый сидел все в той же неудобной позе, откинувшись назад.

– На-ка, мальчик, поддержи, – сказала тетя Груша, протягивая мне кружку с чаем. Сама она схватила снег и принялась растирать им виски желтолицего пацана.

– Ох ты господи! – повторяла тетя Груша. – Ох ты господи! Что же это делается-то, а?

Я увидел ее при дневном свете и поразился: как же может ошибаться человек! Она вовсе не походила на ту женщину, которая, будто кукушка, появлялась в своем окошке. Лицо ее было вовсе не злое, а усталое, может, тронутое какой-то болезнью, и синие круги под глазами опустились до середины щек. И сами глаза были совершенно другие. Не угольные, не пугающие, а как бы бархатные и печальные.

– Это что же, господи! – повторяла она, умело растирая виски желтолицему. – Что же голод-то с нами делает?

Желтолицый вздохнул, открыл глаза, увидел меня и произнес через силу:

– А! Это ты!

– Ну-ка попей чайку! – воскликнула тетя Груша. Она помогла желтолицему встать.

Он держался одной рукой за забор, другой взял кружку и начал прихлебывать горячий чай. Ноги его дрожали. Было видно, как трясутся коленки.

«Как же он победил? – поразился я. – Ведь только что он чуть не задушил Носа у меня на глазах, а теперь еле держится на ногах! Неужели так бывает?»

Он допил чай, сквозь желтизну на щеках проступили рваные красные пятна.

– Спасибо! – вздохнул он и сел прямо в снег.

– А теперь признавайся, – проговорила тетя Груша, – сколько дней не ел?

Он усмехнулся:

– Вот он меня вчера угостил.

– А сегодня, – спросила Груша, – тот хлеб?

– Его сеструхе.

– Ну, как следует? Сколько дней не ел как следует?

– Пять, – проговорил желтолицый.

* * *

– Что с тобой было? – спросил я Вадьку. Теперь я знал имя желтолицего. – У забора?

Он усмехнулся:

– «Что, что». Обморок! Да мне не привыкать. А, Марья?

Мы шли втроем – Вадька, его сеструха, которую он смешно и торжественно называл Марья, и я. Маша доедала кусок хлеба украденный, а Вадька – который принес я.

– Только зря все это, – сказал Вадька. – Жрать сильнее захотелось.

– Ага! – согласилась Марья. – Если не есть, на третий день легче становится.

– Тебя это не касается, – оборвал ее Вадька, – тебе надо есть, ты еще растешь.

– Можно подумать, ты вырос! – как взрослая, проворчала Марья.

Мы шли по улице, и я думал: мы бредем просто так, без всякой цели, может быть, в сторону дома, где живут Вадька и Марья, но пришли мы к главной почте. Вадька уверенно распахнул дверь, прошел в большое помещение, сел за стол.

– Доставай, – велел он Марье.

Девчонка открыла портфель, вынула тетрадку в косую линейку, вырвала листок.

– Пиши ты, – строго сказал Вадька сестренке, – мама любит твой почерк.

Машка, видно, перечила брату не всегда. Высунув язык, она взяла почтовую ручку, обмакнула перо в казенные чернила и старательно, большими буквами вывела первую строчку.

– «Дорогая мамочка!» – продиктовал Вадька.

– Уже написала, – сказала Марья.

– «У нас все хорошо, – задумчиво проговорил он. – Вадик получил три пятерки. По математике, русскому языку и географии. У меня вообще одни пятерки. Вчера мы были в гостях у тети Фаи, она нас до отвала накормила холодцом».

– А как пишется «до отвала»? – спросила Марья. – На конце «а» или «у»?

– Да все равно, – сказал Вадька, – главное, холодец.

Я понял, что они врут. Про холодец и про гости врут абсолютно точно, это ясно, но ведь про пятерки, наверное, тоже.

– Зачем врешь? – спросил я Вадьку.

– Затем, – ответил он зло, – что ей нельзя расстраиваться.

Он помолчал.

– Если бы мы написали правду, – качнул он головой. – А, Марья?

Она подняла голову, усмехнулась горькой взрослой улыбкой. Спросила:

– Как я карточки потеряла? И деньги?

Вот так дела! Они живут без карточек и без денег, да мыслимое ли это дело в войну-то! Мама и бабушка приносили домой рассказы, как померла с голоду одна женщина, а вторая заболела так, что все равно померла, – и все из-за проклятых карточек, из-за того, что их потеряли или украли злобные бандиты.

Да что там! Разве мог я забыть, как ограбили нас, украли отцовский костюм из шифоньера, только пустые плечики постукивали одиноко друг о дружку, а вместе с костюмом прихватили и карточки. Как мы выжили месяц, один бог знает.

– А родные-то есть у вас? – спросил я.

– Мы эвакуированные, – ответила Марья.

– Тогда знакомые? – воскликнул я.

Вадька понурился, опустил голову, о чем-то крепко думал он, и Марья ответила за обоих:

– Мы боимся, они маме скажут. А ей волноваться нельзя.

Он поднял голову, мой новый приятель, и на лбу его я увидел морщинки, будто он старик.

– Это ее убьет, – сказал он.

* * *

Есть люди, похожие на магниты. Они ничего особенного не делают, а к ним тянет.

Вадька был такой магнит. Правда, нельзя сказать, что он ничего не делал. Шакалил в столовой – разве этого мало? Отнял хлеб у девчонки. Но, честно сказать, меня тянуло к нему не это.

Я чувствовал, что желтолицый парень какой-то совсем другой, чем все остальные знакомые мне люди. Даже если сравнивать его со взрослыми. Что-то в нем было такое.

Что? Я не знал. Маленькие люди ведь вообще, многого не зная, умеют чувствовать. Умеют ощущать. Вот, может, и во мне было такое ощущение.

Вадька меня никуда не звал, а самому мне надо было идти домой, учить уроки, но я, точно примагниченный, шел за желтолицым и его сестрой. Они даже не очень-то со мной разговаривали, обращаясь лишь в необходимых случаях, так что болтунами их никак не назовешь.

Они все говорили о матери – похоже, разговаривать о ней доставляло им большое удовольствие. При этом получалось так, что говорить о своей маме они принимались с полуслова, будто отвлекались на минутку от давнего разговора, потом спохватились, что отвлеклись, и говорили снова о самом важном.

– Ведь если продать утюг, как мама велела, – вдруг засмеялась Марья, – так мы ведь до конца войны неглаженными ходить будем.

Вадька одобрительно оглядел сестру, улыбнулся ей и сказал:

– А что у нас гладить-то?

– Ты что? – возмутилась Марья. – Мамино платье, мое платье, твои штаны. Да и много ли дадут за утюг на рынке?

– Точно, – ответил Вадим. – А мама вернется, глядь, утюг целехонек. Ждет ее.

Марья слабо улыбнулась, побледнела.

– Ты что? – забеспокоился Вадим.

– погоди, – прошептала она, – сейчас пройдет.

Вадим схватил снегу, потер Марье виски, как тетя Груша, но она отдернулась, сказала:

– Чепуха! Я же не теряю сознания! Ты же кормишь меня каждый день.

Она отчего-то запыхалась.

– Просто идти трудно, – объяснила Марья, – давай помедленней.

Я чувствовал себя полным дураком. Может, первый раз в жизни не знал, что делать. Стоял, как суслик, столбиком возле двоих этих ребяташек, и все. Им нехорошо и одиноко, а я не могу помочь. Эх, быть бы взрослым! Оказаться в один миг самостоятельным человеком! Уж я бы додумался до чего-нибудь. Дал бы талонов от своих карточек, еще бы сообразил, что полагается в таких случаях.

Но я был обыкновенным мальчишкой и знал не больше Вадьки. А он все-таки старше меня. Как выяснилось, на три класса. Ему год и два месяца до свидетельства о семилетнем образовании.

Марьины глаза прояснились, она глядела на меня, что-то такое соображая, потом неожиданно сказала:

– А ваш городок ничего! Хороший городок! Хуже немного Минска, но тоже хороший. Мне нравится.

Она хотели сделать мне приятное, разговаривала со мной, а то я вроде плетусь за ними и молчу.

– Вы из Минска? – спросил я.

– Марья, – укорил сестру справедливый Вадька, – да много ли ты помнишь про Минск?

Она снова остановилась, на этот раз, видно, от возмущения:

– Все помню!

Немного мы прошли молча.

– Вот помню, например, – сказала Машка, – что у мамы было красное платье в горошинку и оно насквозь промокло, потому что мы попали под дождь. Оно просто прилипло к маме. И она очень стеснялась.

– Когда это, когда? – нахмурился Вадька.

– А вот тогда! – поддразнила его Марья. – Летом!

Мы медленно шли по апрельской улице, с карнизов свисали бугристые сосульки, солнце шпарило прямо в глаза, заставляя жмуриться. На деревьях чирикали одинокие воробьи – война и воробьев не пощадила, ударила по веселому птичьему племени, будто даже простого, но радостного чириканья не терпела, ударила по воробьиному народцу страшными морозами, и я сам видел, как на дороге лежали оледеневшие пуховые шарики, и бескормицей, ясное дело, ударила война – какая еда, какие крошки для воробьев, коли люди за каждой крошкой бросались? И вот выбило, выбило воробьев в нашем городе, и чирикали они по весне как-то неуверенно, робко и стайками не держались, а все больше парами, чтоб, видно, совсем не заскучать от тоски да голодухи. Но все-таки они были, выжили, как и люди, и теперь, весенним часом, чирикали, одинокие и голодные, напоминая про себя, и я забылся, дурачок такой, начал посвистывать, сперва под нос, тихо, потом громко, а затем уже и совсем расшвырялся, а на самой высокой ноте оборвал, стыдясь и раскаиваясь.

Пригрело – и засвистел, как какой-нибудь воробей. Мне хорошо, я сытый, а ребята голодные. Вон Марья едва идет, просит шагать потихоньку. Что бы придумать?

Незаметно мы пришли к каким-то баракам, издалека совсем черным, от них несло карболкой, хлоркой, еще чем-то больничным, и я понял, куда мы забрели. Об этой больнице в городе говорили с суеверным страхом, утишая голос, чтоб, не дай бог, не сглазить, не поймать ненароком страшную тифозную вошь и не оказаться в этих самых тифозных бараках, откуда, конечно, выходят, выбираются некоторые счастливики, но откуда многих выносят, обрядив в последнюю дорогу.

Бараки эти я видел впервые, хотя знал, в каком примерно месте они стоят, я подальше обходил не то что больницу, но даже часть города, где она была.

Вот, значит, в какой больнице лежит мама Вадика и Марьи!

Но знают ли они об этом? Догадываются ли, куда угодила их мать? Понимают ли, что за беда...

При виде барачников я попятился, и Вадим заметил это. Он остановился и, помолчав чуточку, сказал:

– Вы будете здесь. А я отнесу письмо.

Он ушел к проходной, долго был там, потом вернулся.

Вадим подходил к нам какой-то сгорбленной, усталой, взрослой походкой. Он, казалось, даже не видел нас.

– Ну как мама? – окликнула его Марья.

Он вскинул голову, посмотрел на нас.

– Идет на поправку, – ответил он спокойно и уверенно, будто ничего другого и не могло быть. Вадим говорил одно, а думал другое, я понял это. Но что думает он?

– Велит тебя поцеловать, – неожиданно сказал он. Постоял секунду, наклонился и поцеловал Марью. – Теперь вот надо нам думать.

Вадька стоял и раскачивался, как от зубной боли. Молчал и раскачивался. Марья даже сказала ему:

– Хватит качаться!

– Слушай! – повернулся он ко мне. – А у тебя нет какой-нибудь куртки? До весны. Не бойся, я отдам. – Вадька воодушевлялся с каждым словом, видать, его озарила хорошая идея. – Понимаешь, – объяснил он, – я бы толкнул это пальто на рынке, и мы бы как-нибудь дожили до конца месяца. А там новые карточки!

Я не знал, что ответить. Была ли у меня куртка? Была. Но, если по-честному, я ведь не распоряжался ею. Надо спрашивать разрешения мамы. А она станет обсуждать это с бабушкой. Значит, разрешение требовалось от обеих.

«Вот ведь как, – оборвал я себя. – На словах сочувствовать, конечно, легко. А как до дела, так сразу всякие объяснения и сложности!»

– Пошли ко мне! – сказал я Вадьке решительно.

* * *

Зайти к нам они отказались, как я ни уговаривал.

– Мы подождем здесь, – говорил Вадим. – Подождем здесь.

В конце концов, мы разобрались, поняли тяжкое положение друг друга. Я, что ни говори, должен был бы показать, кому я прошу отдать мою куртку до весны. Но и Вадиму, как выяснилось, было неловко. Мне ведь потребовались бы доказательства. А Вадиму слушать про себя не хотелось. Ведь я и про столовую должен был рассказать.

В общем, я согласился. Уступил. Попросил только Вадика и Марью стать под нашими окнами, чтобы мне было хоть кого показать.

Дома оказалась одна бабушка.

Бросив портфель у порога, не раздеваясь, не слушая ее упреков в том, что опять стал последним бродягой, я уселся на стул возле нее и с жаром принялся рассказывать про шакалов в восьмой столовой, про Вадима, про его маленькую сестру, про драку с целой шайкой, из которой мой новый друг вышел победителем, про то, что он не ел пять дней, а карточки потеряны и мать лежит в тифозных бараках, уже поправляется, но вот есть такая идея: продать хорошее пальто. Так как бы насчет моей курточки? Одолжить? До весны! До тепла! Это же всего месяц!

Чтобы быть доказательным, я подтащил бабушку к окну и показал ей Вадика и Марью.

Они стояли внизу, два темных человечка в синеющих сумерках, один побольше, другой поменьше, и, наверное, оттого, что смотрел я сверху, плечи их казались мне опущенными, будто топчутся на снегу не пацан и девчонка, а два сгорбленных карлика.

Что удивительного в карликах? Отчего люди показывают на них пальцами? Оттого ведь, что маленькие ростом, а на самом деле взрослые люди или даже старики.

Марья и Вадим тоже совсем взрослые – пришло мне в голову. Взрослые! Им не хватает только роста и знания, чтобы спасти себя.

* * *

Бабушка глядела на них сверху, крепко задумавшись, и сквозь задумчивость свою спрашивала меня очень странным голосом, как заведенная, без всякой интонации, спрашивала меня всякие глупости.

Одну за другой. Даже, кажется, не ожидая моих ответов.

– Разве можно прожить месяц на это пальтишко? И пять дней без еды – тоже неправда. Никто не выдержит. А школа где же? Можно в гороно сходить. Эвакуированным помогают, есть специальное учреждение. Ох, сомневаюсь я! Если не вернут? Маму дождаться надо, без нее нельзя.

Не знаю, сколько уж я бился с бабушкой. От окна она отошла, но согласия своего не давала, хотя и возражала тоже странно – молчком. Я, уже распалясь, начал голос повышать – может, она меня лучше так поймет, – но бабушка глядела на меня округлившимися, перепуганными глазами, часто моргала и неуверенно отбивалась.

Мне показалось, она обиделась на меня. Ушла за печку, загремела там кастрюлями, включила керогаз, в миске захлюпала, вкусно запахла завариха.

«Эх, елки, – подумал я, – а ведь Вадька-то с Марьей, кроме единственного куска хлеба, ничего не ели».

Я решил. Подошел к шкафу, где хранилась семейная одежка, вернее, жалкие ее остатки, повернул ключик, потянул на себя дверцу. Она, как назло, закрипела – противно, по-козлиному, я напугался: вот выскочит сейчас бабушка, примется стыдить меня и я окажусь вроде как вором в собственном доме. А кому хочется, чтобы про него плохо думали? Я испуганно толкнул дверцу обратно, и она снова заблела. Прямо не дверь, а бабушкина союзница.

Пришлось сунуть руки в брюки, независимо, как будто ничего не случилось, обогнуть печку, поводить носом возле кастрюли, спросить: «Завариха?», – а самому украдкой глянуть на бабушку – не заподозрила ли она что?

Но бабушкино лицо было по-прежнему задумчивое, а взгляд отсутствующим. Что-то такое с ней происходило, мне совершенно непонятное и ранее невиданное. Бабушкина задумчивость была до того крепкой, что она набухала огромную миску муки, помешивала завариху, словно готовила ужин не для

троих, а для целой роты.

Я быстро вернулся к шкафу, не боясь, решительно и резко рванул на себя дверцу, она коротко визгнула, будто ахнула от моей такой настойчивости.

Куртка, сшитая бабушкой для весны, когда еще не так жарко, но уже и не холодно, походила, скорее, на серый и тонкий балахон, и, еще натягивая ее, я подумал, что вряд ли выручу Вадима – в такой одежке запросто продрогнешь до самых костей, все-таки еще вокруг снег, пусть и рыхлый, а утром поджигают заморозки, так что, выходит, этот худой балахон мой не спасение, а полный риск.

Но когда человек на что-то решается, отступить нельзя, да и все равно должен был я показать Вадиму свою куртку, чтобы не подумал, будто я сдрейфил.

Пальто свое, ворвавшись домой, я не повесил на крюк возле двери, и это меня спасло. Сперва пришлось натянуть на себя куртку, а потом пальто, лежавшее на стуле. Аккуратно застегнув пуговицы, я опять принял независимый вид и прошел мимо бабушки.

– Бауш, – сказал я, – маму подожду на улице. С ребятами.

Она ничего не ответила. Что тут ответишь, когда человек говорит здраво и непреклонно!

В общем, мама застала всех нас в дурацком положении. Я снял пальто, стянул куртку, и Вадим рассматривал ее, прикладывая, будто в магазине, рукава к плечам, подойдет ли, а я зажал свое пальто между ног, помогая ему, излагая сомнения насчет спасительности этого балахона. Марья тоже увлеклась, она, как старушенция какая-нибудь, ворчала на нас обоих, говорила, что Вадька помрет, отбросит копыта, сыграет в ящик, в общем, повторяла всякие мальчишеские выражения, надеюсь, видно, что они скорее дойдут до наших мозгов.

Вот тут мама и подошла. Она появилась из-за моей спины. Поэтому я не увидел ее, и она спросила прямо у меня над ухом:

– Что происходит?

Вадька и Марья замерли, готовые отбежать в сторону, а перепугался все-таки больше всех именно я. Во-первых, потому, что мама возникла неожиданно, точнее, в самую неподходящую минуту, застав меня врасплох, а во-вторых, одно дело, когда готовишься к разговору заранее, тут и лицо, улыбка твоя, и шаг, и сама фигура тебе помогают, и совсем другое, когда говорить, да еще того важнее – убеждать принимаешься с ходу, через плечо, хочешь не хочешь, а первые слова всегда выходят вроде оправдания.

Напрягаясь, стараясь вложить в собственные слова всю силу убеждения и в то же время обходя неудобные моменты, щадя самолюбие Вадика и Марьи, я попробовал объяснить суть моего переодевания.

Вышло куцо и непонятно.

Мама решила, что меня, простофилю, облапошили. Еще бы, что это значит – дать куртку на время, до весны, пацану, которого она видит первый раз! И мама сказала, избрав самую краткую и решительную форму приказа:

– Ну-ка марш домой!

Я понимал, что она не разобралась только из-за меня, из-за моего путаного объяснения, но мама тоже поступала нехорошо – приказывала мне при людях, приказывала, не докопавшись до сути, и, значит, не доверяла мне, будто я лопух последний, стану дарить курточку безо всяких причин, не зная будто, что за каждую тряпку на рынке можно выменять драгоценную еду? Даже яйца!

Поколебавшись, я положил свое пальто на снег, аккуратно положил, понимая, что от моего поведения, от моей разумности зависит сама справедливость и моя, пусть мальчишечья, но честь, – я аккуратно положил пальто на снег, вместо того чтобы просто одеться, подошел к маме, взял ее за рукав и с силой отвел в сторону. На несколько шагов.

– Оденься! – сказала она встревоженно. Ха, но какое это имело сейчас значение?

Снова, уже с другим лицом и другими, видимо, интонациями, я стал рассказывать маме весь свой день. Теперь она слушала внимательно. Поглядывала на Вадика и Марью. Не перебивала.

Потом повторила:

– Оденься!

А сама пошла к ребятам.

– Пойдемте к нам! – строго сказала она.

Но Вадим покачал головой.

Мама, кажется, чуточку смутилась. Она молчала, что-то такое обдумывая, и это молчание ей помогло, потому что мама придумала хорошие слова.

Смягчив голос, она сказала:

– Пойдемте к нам, ребята, я вас приглашаю.

Я тоже засуетился, надел свое пальто, Вадим протянул мне куртку, переступил с ноги на ногу, и мы пошли к нашим дверям. Тем временем мама негромко и не сердито поругивала меня.

– Ребята совсем продрогли, – говорила она. – А ты не мог их привести домой? Подождали бы меня, вместе решили бы, как быть.

Бабушка вывалилась у меня из головы, не до того было, зато мы у нее из головы не выходили, оказалось. Едва вошли, едва я назвал Марью и Вадика, как она потащила всех к умывальнику, заставила мыть руки, усадила за стол и перед каждым поставила по тарелке дымящейся аппетитной заварихи с лужицей масла посередине.

Все неловко молчали, и, чтобы сгладить эту неловкость, бабушка завела разговор про последние известия – она их слушала чаще, чем все мы, – про то, что вот уже и конец войны, не за горами опять мирная жизнь, когда в магазинах совершенно свободно и без всяких там карточек будут продаваться и хлеб, и мука, и молоко, и даже колбаса всякой толщины, вот будет благодать!..

Так уж как-то вышло, что разговоры про скорую мирную жизнь получались у нас тихими, осторожными, как бы даже священными разговорами, – каждый мечтал об этом, точно о высшей мере счастья. Когда кто-нибудь из нас заговаривал об этом, остальные старались есть тише, задумывались, смотрели друг на дружку просветленно, с надеждой. Мы и сейчас притихли – мама, бабушка и я, – но Вадим и Марья будто оглохли. Они стучали ложками, торопливо глотали завариху и не обращали ровно никакого внимания на бабушкины мечтания. Бабушка деликатно умолкла. Потом принесла всем добавки. Затем еще Вадику и Марье.

Они отложили ложки, и я отметил про себя, что в глазах у ребят появилась какая-то муть. «Вот елки, – подумал я, – им, наверное, нехорошо, ведь всем известно, что после голода нельзя есть много, так и помереть можно. Нам об этом говорила Анна Николаевна».

Но муть была совсем другая. Марья положила руки на стол, а на руки уронила голову и тотчас, будто по волшебству, уснула.

Вадька спал по-другому. Чуть отвалившись на спинку стула, столбиком, сидя, открыв рот и повесив голову набок.

* * *

Втроем мы перетащили Марью и Вадика на мою кровать, и они даже на мгновение не очнулись. Казалось, это не сон, а тяжелое, может, смертельное ранение и ребята лежат без сознания.

– О-хо-хо! – вздыхала бабушка, покачивая головой. – До чего же голодуха детей доводит! До чего доводит!

– Где хоть они живут? – негромко спрашивала меня мама.

Я пожимал плечами.

– Какая хоть у них фамилия?.. В каких школах учатся?

Но и этого я не знал.

Аккуратно приподнимая Марью, мама сняла с нее платьишко, внимательно, по швам, оглядела его, потом встряхнула, повесила на спинку стула.

– Платьице чистое, – сказала она бабушке, – латаное, но ухоженное.

– Да и он не запущенный, – ответила бабушка. – Пальтишко и правда новое, ботинки тоже.

– Видать, – подхватила мама, – хозяйку в больницу отправили недавно.

Разглядывая одежду Марьи и Вадима, бабушка и мама будто их документы рассматривали. Молодцы, ничего не скажешь! Женский взгляд видит такое, на что обычный человек внимания не обратит.

– Раз все новое, – сказала под конец бабушка, – значит, крепко бедствуют. Все выдано по ордерам, все получено в помощь.

Мама решительно взяла Марьин портфель, открыла его – я и пикнуть не успел, – принялась перебирать содержимое.

Я догадался, что она ищет тетрадку, ведь на обложках все пишут класс и школу, там и место для этого есть. Но Марьины тетрадки – их оказалось три – были сшиты из обыкновенной газеты. Разрезали газету, прихватили листки иглой и белой ниткой, получилась тетрадка. И на ней – имя, фамилия, класс, предмет. «Арифметика», «Русский язык». В портфеле была и чистая, неподписанная тетрадка с хорошей бумагой, очень правда, тонкая, листы больше чем наполовину уже выдраны, и я догадался, что на этой бумаге ребята писали записки своей маме в больницу.

Так мы узнали фамилию Марьи и Вадима: Русаковы.

Мамины глаза наливались решимостью, морщины на ее лбу сошлись к переносице – она готовилась к действиям. Но я вспомнил почту и письмо, которое мы отнесли в тифозную больницу. Я представил свою маму на месте их мамы, представил на минуточку, что, кроме тифа, у мамы еще больное сердце, как у мамы Вадика и Марьи, и что бабушки у меня нет, а я потерял карточки и могу, могу сообщить об этом маме, имею такое право, но все-таки никак не могу, потому что она и так там плачет – не из-за себя плачет, не из-за своей болезни, а от страха, от беспокойства за меня, да еще, окажется, я карточки потерял и должен загнуться с голодухи. Нет уж! Правильно поступали Вадим и Марья! Как ни крути, из двух бед надо всегда выбирать ту, которая больше, о ней помнить, с ней бороться, пока достает сил, а ту, которая меньше, одолевая втихомолку, придумывая что угодно, шакала даже, если придется, только не сдаваясь, не допуская, чтобы большая беда победила.

И я сказал маме:

– Ни за что! Ни за что нельзя, чтобы она узнала. Представляешь – она умрет?

Мама, конечно, поняла, о чем я говорю. Она опустила голову, нахмурилась еще сильнее, спрятала Марьины тетрадки в портфель.

– Но что-то надо делать! Как-то помочь!

Она посмотрела выразительным взглядом на бабушку. Та понурилась, о чем-то задумавшись, потом сказала:

– Ну, на неделю у нас порохи хватит.

Теперь понял я: бабушка говорила о заварихе. Вернее, о запасе нашей еды.

– Это не выход, – проговорила мама. – Надо что-то придумать.

– Может, в военкомат? – спросила бабушка.

– В военкомат! – решительно сказала мама. – В собес! В гороно! Да мало ли разных учреждений, которые помогают, должны помочь! Виданное ли дело: два ребенка от голода ну только что не помирают!

Мама рассердилась на кого-то, неизвестно на кого, лицо ее порозовело, она встала и принялась повязывать платок, но глянула на Вадика и Марью, села.

– Куда ж я без них-то? – спросила она. – Без них нельзя.

А они спали. И будить их было жалко.

* * *

Они проспали как убитые до самого утра.

Мне мама устроила постель на стульях. Составила их рядом, спинки через каждый стул в разную сторону, посередке стеганое одеяло, сверху байковое, и получилось гнездо – лучше некуда. Только ребята не видели.

Но я расштал все-таки за ночь свое гнездо. Под утро – уже вставать пора было – свалился на пол, сперва напугался, потом вспомнил, что со мной, и расхохотался. Всех поднял смехом. Не так уж и плохо, в конце концов, начинать день с улыбки.

Бабушка и мама быстро оделись, застучали в прихожей, полилась вода из ведра, зацокал носик умывальника.

Марья сидела на краешке кровати растерянная, обхватив себя за плечи, искала глазами платье, Вадька отряхивал брюки – так ведь и проспал в них, мама и бабушка не решились его раздеть; правильно сделали: зачем смущать человека?

Вадим, похоже, злился на себя. Как тогда, в столовой, не смотрел на меня. Хорошо еще, мамы и бабушки не было в комнате.

– Ну чего ты! – толкнул я его в плечо.

Он будто того и ждал – хоть словечка, хоть улыбки.

– Черт его знает, что такое! – пробурчал Вадим. – Будто в яму провалился. Ничего не помню. Вот сижу за столом, и вот проснулся.

– Правда, чего это с нами было? – спросила Марья.

Бабушка и мама стояли в дверном проеме, глядели на нас и улыбались, но Вадька повернулся к ним спиной, не видел.

– Ты, Марья, маленькая, – сказал он, по-взрослому вздохнув, – поэтому не знаешь. Сытость, как и голод, с ног сбить может. Если неожиданно.

– Будто кто-то подошел и сбоку стукнул? – спросила она.

– Точно! – засмеялся Вадим.

И правда, была тогда у нас такая забава. Подойти к приятелю со спины, сложить обе руки вместе, чтоб удар посильней был, и стукнуть сбоку по плечу. Можно и свалить, если удар покрепче.

– Ну-ка, бойцы, – сказала мама, – скорей к умывальнику.

В руках она держала отутюженное Марьино платье, и девчонка вскрикнула:

– Ох! Как при маме!

Мама спешила в госпиталь, поэтому завтрак получился очень торопливый и нескладный, но кто тогда думал об этом, ведь жили мы все лишь бы, лишь бы.

Лишь бы дожить до новых карточек, лишь бы перехватить чего-нибудь съедобного, лишь бы скорей на работу, в школу, лишь бы дожить до победы. Война затянулась, голод и холод одолевали постоянно, и к ним уже попривыкли, только вот к войне никто привыкать не хотел, все торопили ее, откладывая радость, удовольствие да, кажется, и саму жизнь до лучших времен, до мирных дней.

Так что мамину торопливость никто не принял за невежливость. Каждому ясно: некогда, уже утро, нужно на работу.

Мама спрашивала Вадима, и он отвечал, при этом часто повторяя одно и то же: он просит ничего не делать, очень просит.

Она спросила, где живут ребята, где работала их мама, жив ли отец. Отец погиб давно, в сорок первом, а вот на мамину работу ходить не надо. Почему – Вадим не сказал. Но мы все это знали.

Мама убежала, наказав нам явиться вечером.

– Непременно, обязательно, во что бы то ни стало, – сказала она и, одевшись, убежала.

Вадим, оказалось, учился во вторую смену, но нам с Марьей было пора. Он тоже оделся.

Бабушка предложила Вадьке остаться, он отказался наотрез.

– Мне Марью надо проводить, – сказал он, – потом домой, прибраться, вообще проведать.

Марья оказалась дисциплинированной ученицей, бежала впереди нас, охала, что опоздает, пока Вадька не отпустил ее.

– Хорошо, – сказал он, – беги. – А мне объяснил: – До школы недалеко, все перекрестки уже прошли.

Перекрестки! Я что-то не слышал, чтоб на наших перекрестках случались происшествия. Лошадь наедет? Так они тянутся едва-едва, выбиваясь из последних сил, по рыхлому весеннему снегу. Машин мало, а если уж идет, шоферша – тыловые газогенераторки водили больше женщины – все уши приоткрывает, подъезжая к перекрестку. Осторожные, такой уж женский характер.

Но я, между прочим, тоже опаздывал, а Вадим никак не мог этого понять.

– Ну, ладно, – сказал я, – вечером приходите, мне пора.

И прибавил газу.

– А ты что, – спросил меня Вадим вдогонку, – никогда уроков не пропускал?

Я остановился как вкопанный. Вот такой силой, будто магнит, обладал Вадим.

– Конечно, нет, – пожал я плечами.

Он вздохнул, пробормотал под нос, но так, чтобы я расслышал:

– Вот чудак! Да так ведь вся жизнь мимо пройдет.

Мы сделали несколько шагов вместе.

– Ну, ладно, – сказал он, обращаясь уже не к себе, а ко мне, – дуй. А я вот сегодня, пожалуй, в школу не пойду.

Сипло, сначала будто нехотя, потом все решительнее и громче загудели в разных углах города заводские гудки. А мне оставалось еще два квартала. Все! На первый урок я опоздал. Раньше бы я пропустил, гнал до пота, ворвался бы, мокрый, в класс, покаялся бы перед Анной Николаевной – тут уж лучше всего признаться, что виноват, долго собирался или проспал, словом, сказать правду, получить помилование и сесть, но теперь я шел, равняя свой шаг с походкой Вадима, и успокаивал себя: один урок можно!

– Почему ты не пойдешь в школу? – спросил я его.

– Надо что-то делать, – проговорил он печально и глубокомысленно. Я уже хотел было посочувствовать ему, но тут он сказал такое, что я опешил: – Сперва пойду в столовку. – После паузы добавил, усмехнувшись: – Пошакалю.

Ну да, ну конечно, корил я себя. Вообразил, что Вадим тебе близкий друг, хотя знакомы-то без году неделя – меньше суток. Вообще, что я знаю о нем? И почему он должен чувствовать себя обязанным только оттого, что поел у нас заварихи да уснул, сморенный едой?

На самом-то деле он чужой, лишь са-амую чуточку знакомый парень, и если, поев, он опять тащится шакалить в восьмую столовую, значит, он злобный человек, вот и все. Негодяй, отбирающий

куски хлеба у слабых девчонок.

Мне стало противно. Я чуть прибавил шагу и посмотрел на Вадима. Может, он шутит, разыгрывает меня? Всякие розыгрыши были тогда в ходу. Но он смотрел вперед задумчиво, даже тоскливо. Казалось, он видит что-то сквозь снег на дороге, сквозь, может, даже землю, что-то видит такое, что недоступно мне. Совсем как наша учительница Анна Николаевна.

Я все-таки не утерпел, хотя это был стыдный и даже позорный вопрос. Я долго думал, как бы задать его необидней, но, когда думаешь о деликатности, всегда получается самое грубое.

– Ты что, не наелся? – спросил я. И покраснел.

Вадим посмотрел на меня сверху вниз. Без всякого удивления или любопытства посмотрел и ответил:

– Наелся. Но вечером надо чем-то Машку кормить. И завтра тоже.

В глаза он называл сестру только Марьей, торжественно получалось, ничего не скажешь. А сейчас назвал попросту. За глаза человек всегда искренней. Мимоходом я подумал, что, называя сестру полным именем, Вадька, пожалуй, старается воспитывать ее. Но главное было не это. Меня поражала его глупость. Мама же ясно пригласила их вечером к нам. Значит, будем есть.

– Но моя мама вас пригласила! – сказал я, не скрывая своей досады.

Он опять посмотрел на меня сверху вниз.

– Твоя мама, – сказал он совсем как взрослый, – не обязана нас кормить. – Он еще глянул на меня. И спросил, точно учитель: – Ты понял?

После этих слов я решил про себя: в школу сегодня не пойду.

Мне было стыдно перед Вадимом. Я готов искупить вину. За свои дурные мысли о нем я должен расплатиться.

Надо же! Думал о нем – он жадный. Думал – негодяй.

А он! Благороднейший из благородных!

Это бывает часто, во все времена, – в голодные дни войны и когда беды нет, а есть мирное, счастливое небо: мальчишка помладше, точно верный оруженосец, готов следовать за мальчишкой, который едва старше его.

Рыцарь идет, рыцарь говорит, рыцарь поет, рыцарь молчит, и все, даже молчание любимого рыцаря, кажется оруженосцу значительным и важным.

Счастливы оба.

* * *

Я думал, мы будем гулять, просто шляться, но Вадим двигался скорым шагом, и приходилось поторапливаться, чтобы не отстать от него. Время от времени он останавливался и молча смотрел на меня терпеливыми глазами.

– Ты что? – спрашивал я.

– Отдохни, – предлагал он.

Сперва я неопределенно хмыкнул: с чего он взял, будто я устал? Но потом хмыкать перестал. Мы уже прошли километров пять, наверное. Перед этим получился такой разговор.

– А ведь ты и вчера в школе не был, – догадался я.

– Не успеваю, – ответил Вадим. – Пока все обойдешь...

– А где ты ходишь?

– Ты думаешь, одной восьмой столовкой прокормишься?

Что-то не сходились концы с концами, я сразу это сообразил. Ну, неделю назад они потеряли карточки, тут все ясно. Но если человек шакалит всего неделю, откуда он все знает-то? Все столовые?

Вадька будто услышал меня. Понял незаданный вопрос.

– Мама у нас часто болеет, – сказал он. И вздохнул: – Так что приходится.

Он оживился, стал рассказывать.

– Самое хорошее место – вокзал, – сказал он. – А самые добрые люди – солдаты. Мне целую буханку хлеба однажды дали, – повеселел он. – А в другой раз банку американской тушенки. А еще раз – пачку шоколада. Представляешь? – Он даже хохотнул. – Лучше всего дают, когда на фронт едут! А когда с фронта, разве что сухарь получишь. Понятно. Хотят домой привезти. Сейчас всем худо.

– Так давай на вокзал, – предложил я. – Вдвоем больше выпросим.

– Там гоняют, – вздохнул Вадька. – На перрон за деньги пускают, да и то к приходу поезда. А так заберешься – в милицию тащат. Или к военному коменданту. К нему – лучше.

– Почему? – удивился я. Военная комендатура, да еще на вокзале, ловила всяких шпииков, я это знал, проверяли документы не только у солдат, но у всех мужчин: нет ли дезертиров?

– Он всегда отпускает, – ответил Вадька. – Да еще чего-нибудь даст, хлеба например. Там добрый дядька есть, однорукий. А вот мильтонши пристают, будто липучки: где живешь да как фамилия... Я там предупреждение имею, два раза попадал. Больше нельзя. Особенно теперь. – Он опять вздохнул, как старик. – Что будет с Машкой? Нет, рисковать нельзя.

И мы пошли, где попроще. Топали уже где-то на окраине. Я тут и не был никогда, хотя город для меня родной, а Вадька здесь только в эвакуации. Ну и словечко!

С уроками сегодня я уже распростился. На первый опоздал. Ко второму не успел. Ну а являться на третий урок просто глупо. Анна Николаевна потребует веских объяснений, еще хуже – записки от мамы: в чем, мол, дело, какая причина для прогула. Будь что будет, махнул я рукой. И вот мы брели где-то на окраине, по неизвестной улице, и я, по правде говоря, старательно запоминал все повороты: уж очень подозрительно поглядывали на нас незнакомые ребята.

Одни лупили снежками друг в друга – весна вышла затяжная, то таяло, то вдруг погода свирепела, валил снег, и город утопал почти что в январских сугробах, – другие были на лыжах, улица кренилась вниз, кое-где довольно круто, и получалась хорошая горка – не зря весь снег укатан. Стояли на горке и бездельные пацаны, сунув руки в карманы; некоторые курили. И все эти ребята – и те, кто кидался снежками, и те, кто катался, и бездельники – при нашем приближении переставали смеяться и хмуро поглядывали на нас.

– Зря я тебя с собой сюда взял, – сказал мне негромко Вадим.

– Почему это? – слегка обиделся я.

– Да здесь бегать надо быстро.

– Зачем? – удивился я.

– От здешних пацанов. Будто маслозавод их собственный.

Мы оказались возле деревянного забора, за которым торчала высокая железная труба, вовсе не похожая на заводскую. У запертых деревянных ворот гоняла конский катыш стайка ребят.

Хорошая игра, если ничего другого нет. Особенно для морозной погоды. Один водит. Он метит катышем в других ребят, бьет, как футбольным мячом, до тех пор, пока не попадет в валенок или ботинок. Дальше водит тот, кого стукнул катыш.

Игра получается быстрая. Чтобы увернуться, надо бегать, да и далеко бежать не разрешается, надо подпрыгивать, вовремя, конечно, подпрыгивать, с расчетом.

Мальчишки прыгали себе, хохотали, обычное дело, и я не обратил бы на них внимания, если бы не Вадька.

– Берегись их, – сказал он. – Будь внимательнее.

Воздух вкусно пахнул семечками, к воротам время от времени подъезжал транспорт – сани, груженные железными флягами с молоком или какими-то мешками. Ребята не обращали на них внимания, Вадим тоже был спокоен.

Он оживился только тогда, когда первая подвода выехала из ворот.

Парни, игравшие катышем, остановились, пропустили сани, потом побежали следом, выкрикивая что-то. Первые два слова я разобрал, а вот третье понять не мог.

Получалось, они кричали: «Дядя, дай ха-ха» или: «Дядя, дай жениха».

– Чего они кричат? – спросил я Вадьку.

– Просят жмыха.

Должен признаться без всякого стыда: я не знал, что это такое. Не знал, и все. Поколебавшись, спросил Вадима. Ведь Анна Николаевна, когда отвлекалась, когда задумывалась, произносила вслух свои замечательные мысли, часто повторяла истину, называя ее важнейшей: «Не бойтесь спросить, если чего-то не знаете. Пусть над вами даже посмеются. Знайте: это смеются глупые люди».

В общем, я спросил про жмых Вадима, и он не засмеялся. Объяснил, что это остатки. Масло жмут из семян подсолнуха – и вот получают остатки, называется жмых.

– Вкусно? – спросил я.

– Спра-ашиваешь! – воскликнул он восторженно.

А мальчишки побежали за санями и отстали. Видно, у возчика не было жмыха. Или просто не дал, не знаю.

Из ворот с перерывами выехали еще три подводы, но, сколько ни бежали за ними мальчишки, ничего им не перепало. Я стал сомневаться в нашей удаче. Даже если с саней кинут этот жмых, ребята опередят нас – их много, они здешние. Вадька, похоже, тоже не очень-то уверенно чувствовал себя.

– Может, пойдём? – спросил я. – Черт с ним, с этим жмыхом. Ещё надают.

– Могут, – согласился он и вздохнул. Но, подумав, сказал: – Все-таки подождём, а вдруг?

Из ворот вышел хромой дядька в полушубке и военной шапке без звездочки. Мальчишки на дороге не обратили на него никакого внимания, и дядька ковылял по тропинке мимо нас. Мы отступили в снег, чтобы пропустить его.

– Спасибо, молодцы, – сказал он хрипло, будто мы сделали ему какую-то услугу.

– Дядь! – спросил Вадим. – Жмыха не будет?

– Жмыха? – переспросил хромой и остановился. Не поймешь, сколько и лет человеку: волосы на затылке совсем седые, точно снег, а глаза смеются по-молодому.

– Зубы не обломаете? – спросил он, усмехнувшись.

– Новые вырастут! – ответил Вадька.

Хромой мужик рассмеялся.

– А что! – сказал он. – У вас, пожалуй, еще вырастут!

Он сунул руки в карманы полушубка, сразу в оба кармана сунул, и достал оттуда по желтому брикету, размером с большую плитку шоколада.

– Натё, точите зубы, – усмехнулся он, – вам это полезно.

– Пошли! – шепнул мне Вадька.

Я сунул в карман кусок жмыха и оглянулся. Пацаны, игравшие у ворот, приближались к нам. Впереди был рыжий крепыш.

– Эй! – крикнул он. – Отдайте одну! Это наше!

– Нет! – ответил ему Вадька. – Сегодня повезло нам!

Мальчишки могли бы запросто напасть на нас, если бы мы не уходили вслед за хромым дядькой. Получалось, отступали под его прикрытием. Не так уж здорово, но что поделаешь?

– Ну, подожди! – крикнул рыжий и повторил обидное. – Ну, погоди, шлэндра! Я тебя знаю! Ты шакал из восьмой столовки.

Мальчишки захохотали.

– Бродит по всему городу, – не унимался рыжий, – будто голодный шакал.

И парни заорали:

– Шакалы! Шакалы!

Мы поднимались вверх по горе вслед за хромым дядькой, и гора орала нам мальчишечьими голосами:

– Шакалы! Шакалы!

* * *

На горе добрый дядька свернул, а мы пошли прямо. Мы шагали, скребя зубами склизлые от слюны плитки жмыха, и я все никак не мог понять его вкус. Пахло прекрасно – подсолнечным маслом, а вот отгрызть хоть кусочек и размять его, чтобы проглотить, никак не удавалось. Вот так еда, топором руби!

Вадим молчал. Наверное, он думал о том же, о чем думал и я. А я думал о пацанах на горке и у завода. О щедрости и жадности. О доброте и злобности.

Нелегко доставалась еда Вадьке. Но это что, трудность! Главное, какой ценой.

Не верил я, что вся горка такой уж сытой была, нет, не верил. Значит, могли бы понять голодного пацана? Но понимать не желали. Почему? Из-за злобы, из-за выдуманного кем-то права собственности здешних пацанов на этот жмых, будь он проклят. Как откусить – и то не поймешь.

И вот они в отместку засвистели, заулюлюкали, заобзывались. Не смогли властью своей, своим правом, не смогли силой своего добиться, так давай словом колошматить Вадьку. Вернее, нас двоих.

Да, колошматили нас обоих, и это мне помогло разобраться в Вадиме. В его чувствах. Он шел понурый, усталый и, если б не я, совсем одинокий. Я понимал его тихое отчаяние: за голод приходилось рассчитывать самым неразменным – добрым именем. И все-таки он был сильный человек, этот Вадик. Улыбнулся мне и сказал:

– Я этот жмых дома напильником пилю. Получается такая крошка. Глотай – и все. Вкуснота!

Я засмеялся:

– Как яичный порошок? Никто не догадался выпускать жмыховый порошок. Твое изобретение!

– Ага! – весело согласился Вадим. – Еще и топором рублю на мелкие кусочки. Получается как халва, только твердая. Ты ел халву?

Я пожал плечами. Кажется, ел. Но это было так давно, до войны, и я уже забыл, какая она такая, эта халва, какого вида и вкуса.

– Не помнишь? – спросил Вадька. И вздохнул: – А я помню. Просто житья нет.

– Житья? – удивился я.

– Ну да! – воскликнул Вадим. – Когда долго не ешь, вместо того чтобы забыть, наоборот, всякие вкусности вспоминаешь. Халву там, ромовую бабу, или кровяную колбасу, или жареные котлеты с луком, и так под ложечкой сосет – готов дерево грызть.

Я засмеялся.

– Чего смеешься, – спросил Вадим серьезно, – я и дерево грыз. Кору. Осиновая горькая, березовая – никакая, ее не раскусишь, а вот сосновую – очень даже можно. Прожуешь до муки и глотаешь. Пахнет хвоей.

– Да ну? – удивился я.

– Ага, – кивнул он, – только давишься с непривычки. Водой надо запивать. Ну и живот потом пучит.

– Вадь, – сказал я, решившись наконец спросить о том, что меня мучило. – А тебе ту девчонку не жалко? У которой хлеб отнял?

Он опять по-взрослому и без всякого удивления поглядел на меня сверху вниз. Прошел несколько шагов молча. Мне уже показалось, он оскорбился. Но не такой Вадька был человек. Просто он взвешивал слова.

– Понимаешь, – сказал он мне, помолчав, – я не думаю об этом. Стараюсь не думать. Иначе мы с Машкой пропадем. Что тогда будет с мамой?

Опять он умолк.

– А потом, этой девчонке остается обед. Она не помрет с голоду. Я ее как бы поделиться прошу, понимаешь? Только против ее воли. Силой.

Я вздохнул. Попробуй-ка разберись в таком деле.

– Вообще, – говорил Вадька, – когда не ел хотя бы сутки, все остальное уже не помнишь. Всякие там правила.

– Ну, а если, – задал я новую задачу, – у той девчонки был бы только тот кусок? Отнял бы?

Вадька хмыкнул, опять глянув на меня.

– Я, может, и шакал, – ответил он, – но не скотина.

Мы шагали, каждый думал о своем.

– Такие тоже есть, – сказал он, – тихо садятся за твой столик и тихо говорят: «Суп мой!» Или говорят: «Отдай котлеты», или говорят: «Сиди и молчи». Ну и пацан или там девчонка весь обед отдают.

Я даже остановился, возмущенный.

– Ни за что бы не отдал! – воскликнул я решительно.

– Ха, не отдал! – ухмыльнулся Вадька. – А если тебе ножик покажут из рукава?

Вот это да! Вот это столовка! Сказать бы маме и бабушке, вот бы они всполошились! Пожалуй, велели бы отказаться от бесплатных талонов. Мол, еще зарежут за какие-то щи! За котлету!

– Ну и пырнули кого-нибудь? – спросил я Вадьку.

Он усмехнулся:

– Вроде не слышать. Страшают только. А там поди разберись, что случилось за углом.

Я спросил Вадьку:

– Неужели из-за еды можно человека убить?

Он помотал головой:

– Не знаю. Но те, что с ножиками по столовке рыщут, не такие уж голодные. Шпана.

Про шпану у нас в городке толковали много и охотно. Казалось, к концу войны шпана разбушевалась. Однажды дошли до того, что искололи ножом офицера, который из госпиталя выписался, на вокзал шел. В мешке у него был большой паек – консервы там, хлеб, – на него и зарились. Офицер стал защищаться, дрался как мог, но против ножа одними кулаками не больно навоюешь, вот и вышло: вернули офицера обратно в госпиталь. Едва выжил. Выходит, ничем не лучше хулиганская финка вражеских пуль.

Город роптал чуть не месяц. По улицам ходили военные патрули, останавливали всех, кому больше пятнадцати лет. Подозрительных обыскивали, отвозили в городскую комендатуру.

Ходили и смешанные патрули – военные и милиционерши; ясное дело, что от одних милиционерок толку мало – с кем они справятся? Разве с малолетними. Милиционерши ходили с

военными, улыбались друг дружке, кокетничали, наверное. Наконец патрули исчезли совсем. До нового происшествия.

Так что я хоть и поразился опасности, которая угрожала каждому в восьмой столовке, но поверил Вадьке.

Не такой он был человек, чтобы врать.

* * *

Почему я так верил ему?

Вижу всего второй день, а верю, как учительнице, как маме. Почему без всяких особых усилий он повел меня по городу, заставив забыть про школу? В чем состояла его магнитная сила?

Думаю, дело в том, что маленький человек способен сильно поражаться. Вообще сила чувств – великое свойство маленьких людей. Крепко любить и сильно страдать – замечательные достоинства, да-да, именно так: достоинства. Сильное чувство движет человеком. Пораженный маленький человек испытывает чувство привязанности к тому, что поразило его.

Меня поразил Вадим. Конечно же! Но еще сильнее поразила его жизнь.

Нельзя сказать, что я не знал лишений. Но бабушка и мама из сил выбивались, чтобы спасти меня. И я не знал, что такое голод. Как он ни стучал в наши двери, мама и бабушка не пустили его.

А вот Вадька знал голодуху. Очень хорошо знал, в лицо.

Обстоятельства, которые выпали на долю Вадима с сестрой, дали ему полную свободу и самостоятельность – что и говорить, заманчивое преимущество. Но заманчивое при других условиях.

Свобода, дарованная для сражения с голодом, самостоятельность, полученная для того, чтобы не помереть, выглядели иначе.

Они не могли не поражать.

* * *

Мы стояли у ворот рынка, и я, зачарованный, глазел на мрачную тетку в телогрейке и мужских бурках. В руках у нее была банка – обыкновенная пол-литровая банка, набитая сладкими петушками на палочке. Петушки в банке заманчиво топорщились, сияли на солнце, ведь были они красные, даже алые, и я решал неразрешимую задачу: какую же, интересно, краску добавляют в съедобных петухов, если они так горят.

– Ха, чудак, – сказал Вадим, перехватив мой взгляд. – Разве это еда? Один обман!

И мы пошли искать еду.

Но вначале Вадька как следует объяснил мне, что к чему. Вообще рынок он считал серьезным в смысле жратвы местом. Тут были, например, тетки, которые даже зимой продавали подогретое молоко. И если есть деньги, можно купить кусок хлеба, стакан молока и прямо тут поесть.

Как объяснил Вадька, эта радость выпадала ему очень редко, когда не болела мама, когда она была на работе и когда, например, не было обеда, но были деньги.

Есть еще один хитрый прием, но им надо пользоваться умело, редко и, конечно, летом. Взять в руки бидончик или бутылку, будто мать послала купить молока, – все-таки лучше бидончик, потому что у него есть своя крышка, – подходить к тетке и говорить ей очень уверенным голосом. Про уверенный голос Вадим сказал раза два или три подряд. По его словам, это имело решающее значение. Так вот, надо было подойти к тетке и сказать ей очень уверенным голосом: «Тетенька, ну-ка попробуем вашего молочка, не разбавлено ли водицей!» Тут тетка начинала божиться, что сроду таким делом не занималась, и плескала чуток молока в подставленную крышку от бидончика. Дальше следовало не спеша, смакуя, как бы пробуя на вкус, выпить молоко, спросить подозрительно: «А свежее?» – и, пока тетка или бабка снова божилась и крестилась, пожать плечами и отойти на достаточно безопасное расстояние – туда, где не видели этого подхода. Вот такой военной хитростью, прохаживаясь по молочному ряду, Вадька ухитрялся, по его словам, выпить стакан молока – из разных бутылок, от разных хозяек, по глоточку.

– Но чуть дрогнет голо-ос! – протянул Вадька. – Берегись! Торговки друг дружку не любят. Соревнуются. А тут сразу – лучшие подружки. В один голос орут: «Жулик! Нахал!» И надо еще память хорошую, – смеясь, объяснял он, – чтобы к одной и той же не подойти. И нужно все-таки иногда покупать. Вот уж покупать, – рассказывал он, – лучше у той, которую однажды обвел и которая тебя помнит.

Я представлял, как Вадька уверенно шагает с бидончиком по молочному ряду, останавливается для блезиру, торговки приглядываются к нему, а одна, узнавшая его, собирает узелком губы,

придерживая до поры бранное, крикливое словцо, Вадька тоже узнает ее, смело, глядя прямо в глаза, подходит, говорит, как уже не раз говорил: «Ну-ка, тететька, дайте на пробу!», пробует, нарочно тянет, чтобы подразнить молочницу, потом улыбается и восклицает: «Наливайте литр! Хорошее сегодня у вас молочко!»

– Одну и ту же тетку, – объяснил мне Вадим, – можно дурить так до бесконечности. Ясное дело: изредка надо молоко покупать.

Но сейчас было еще не лето, только апрель, и еду мы искали не на прилавках, а под ними.

Вадька обучил меня: надо идти с задней стороны длинного базарного прилавка и глядеть под ноги продавцов. Искать следовало только одно: картошку.

Торопясь, продавец может уронить одну картофелину, она лежит себе у него под ногами, он ее даже истоптать по нечаянности может, к тому же не часто оборачивается. Подойди, стараясь сделать это незаметно, наклонись и возьми.

Мы шли, медленно переставляя ноги, точно солдаты на минном поле, мы шли медленно, успевая заглянуть во все закоулки деревянного прилавка, отыскивая оброненную картофелину, но нам не везло. Да и не одни мы оказались такими хитрыми.

Навстречу нам плелась старуха в лохмотьях, известная всему городу нищенка.

Она бродила по улицам, согнувшись чуть не пополам, но о палку никогда не опиралась – руки держала за спиной, и, видимо, только это помогало ей удерживать равновесие. На голове у нее был черный платок, всегда сбившийся куда-то назад, и потому лицо нищенки прикрывали обрезанные седые волосы. Они торчали, как пакля, и нищенка смотрела на людей сквозь волосы, сквозь шторку, – глаза ее мерцали там, в глубине, делалось страшно, и ребята помладше обходили ее стороной. Один карман пальто, обтерханного, рваного, торчал всегда наружу, точно воры вытащили из него деньги, хотя какие там деньги у нищенки! Вот так она шла, разговаривая сама с собой, потом садилась на углу или у хлебного магазина и подвывала:

– Пода-айте, ради Христа! Пода-а-айте, ради Христа!

У хлебного магазина, я видел, ей подавали иногда маленьким довеском, и она тут же съедала его, громко чавкая и не переставая причитать свое:

– Подайте, ради Христа!

И вот она стояла перед нами, смотрела сквозь седые космы то на меня, то на Вадьку и спрашивала:

– Ну? Что? – И снова: – Ну? Что?

В руках она держала сморщенную, жалкую мороженую морковку.

– Отнимете? – спросила она, стараясь затолкать морковку в рукав. Но страшные, костлявые, в синих венах руки не слушались ее. – Отнимете? – спрашивала она. И кивала головой.

– Да нет, бабуш! – ответил ей спокойно Вадька. Он и нищенки не боялся, смелый человек. – Не отнимем!

Она закивала нам, заулыбалась, спрятала все-таки морковку в рукав. А мы пошли дальше.

То ли старуха подняла все, что могло лежать на земле, то ли к весне цена на картошку повысилась и продавщицы обращались с ней очень осторожно, но нам не повезло.

Ничего мы не нашли.

* * *

После рынка мы зашли к Вадьке домой.

Никогда я еще не видел такой убогости! Комнатка, правда, вполне приличная, светлая, солнечная и теплая, хотя она прямо под лестницей трехэтажного коммунального дома. Зато две железные батареи грели вполне исправно, и я подумал, что это все-таки большое счастье: не надо возиться с дровами. Главное, доставать неизвестно где. Правда, посреди комнаты стояла еще «буржуйка», голенастая и длинная труба которой выходила прямо в форточку, заделанную для этого железным листом. На «буржуйке», наверное, готовили обед, или, может, она требовалась, когда не было топлива в котельной. Прямо на печурке, на верхней ее крышке, стояла керосинка.

Но все остальное!

В комнате было две кровати. На одной матрац лежал свернутым, открывая вместо пружин неструганые доски, на другой поверх матраца валялось скомканное суконное одеяло, какие бывают в госпиталях, и две подушки без наволочек. Простыней тоже не было.

У окна стоял дощатый, сколоченный из струганных досок стол, на нем, прямо по центру, красовался старый угольный утюг, а на краю, одна в другой, кособочились две дюралевые миски с

ложками.

При входе взблескивали умывальник и ведро, а с потолка свешивалась на проводе голая, без абажура, лампочка.

В общем, я был уверен: заведи сюда с улицы десять случайных прохожих и спроси: живут ли тут люди, девять покачают головой: мол, может, и жили когда-то, но давно уже не живут.

К тому же окна были крест-накрест заклеены белой бумагой. Надо же! В начале войны, верно, было такое распоряжение, и все окна заклеивали бумажными полосками, чтобы, если бомба упадет, стекла не вылетали, покрепче держались. Но когда я в первый класс пошел, приказ этот отменили, и хозяйки с такой радостью принялись их отдирать, отскрести ножичками, отмачивать водой, что самый несмышленный понял: все, враг до нас не доберется.

И только тут, в комнате под лестницей, было как в начале войны.

Единственное, что напоминало о людях в этой комнате, большая фотокарточка в деревянной рамке над той кроватью, где лежал свернутый матрас: мужчина и женщина.

Я принялся разглядывать их. Без всяких слов ясно, что это Вадькины родители. Отец погиб, а мама лежит в больнице. Я постарался пожалеть этих молодых людей на стенке, но у меня ничего не вышло. До того заретушированы были их лица, что они походили на манекенов, которые стоят в витрине универмага еще с довоенной поры, на двух улыбающихся человекоподобных кукол.

Вадим подошел к столу, вытащил из кармана плитку жмыха, потом открыл портфель, порылся в нем и выложил кусок черствого хлеба, несколько корок и маленький кусочек сахара.

– Чуешь? – спросил он меня. – Все еще воняет.

Вот-вот! Самое главное, что делало комнату нежилой, – запах хлорки, смешанный еще с чем-то, более едким и таким же больничным.

– Как маму в больницу увезли, мы чуть ночью не подошли, – сказал он. – Приехали санитары. Почему-то в черных халатах. Белье забрали и увезли, матрацы хотели сжечь, да, видно, нас пожалели, а в комнате так набрызгали из каких-то банок, что мы, ей-богу, чуть не преставились.

Он сидел у стола, не раздеваясь сам и не предлагая снять пальто мне – до того тут было неуютно.

– Вадь, – спросил я, – ну а кресты-то на окнах почему не смоеете?

Он опустил голову, помолчал, потом сказал чуть севшим голосом и какими-то взрослыми словами.

– Видишь ли, – сказал он и опять помолчал. – Это мама. Ей кажется: когда кресты на окнах, война еще только началась. И папка жив. – Он покачал головой, едва улыбнулся. – Я ей объясняю, что скоро войне конец, а она плачет и говорит: «Не хочу! Не хочу!»

– Не хочет, чтоб войне конец? – удивился я.

Он снова покачал головой.

– Не хочет, чтоб отец умирал.

Вадька смотрел на фотографию над кроватью, на застывшие, неживые лица отца своего и мамы, и, ясное дело, ему совсем другое виделось в портрете с деревянной рамкой. Наконец он перевел взгляд на меня:

– Она странной какой-то стала, как похоронку принесли. С отцом все говорит. Смеется. Будто во сне все это. Потом проснется, нас увидит и плачет. – Он помедлил, точно взвешивал, стоит ли доверить мне что-то очень важное, потом сказал: – Ты знаешь, она даже салютам не радуется. – Вадим снова замолчал. Сказал, как старик: – Боюсь я за нее.

Я бы никогда не сказал так. И никогда не подумал. Я знал, что бояться за меня мама и бабушка. За бабушку я тоже, пожалуй, мог бы испугаться, если бы, допустим, она упала на ледяном тротуаре. Но за маму я не боялся – никогда не боялся. Жалел ее, это да, особенно когда она кровь сдавала, чтобы мне масло купить. Но бояться?..

Мама была взрослой женщиной, работала лаборанткой в госпитале, получала карточки как служащая, строго спрашивала мои уроки, пробирала, а если требовалось – она походила на энергичный мотор, который крутит всю нашу жизнь – и бабушкину, и, особенно, мою. Да что там! Мама была главный человек в доме, а когда отец ушел на войну, за мамой было последнее слово. И надо сказать, она очень здорово управлялась со мной, с бабушкой, со всем нашим домом и его заботами.

Нет, я не боялся за маму! Она была моей защитницей, моей кормилицей. И я не боялся за нее, нет! Разве бояться за силу и справедливость?

А вот Вадька боялся. Выходит, его мама была слабей, чем он?

Может ли так быть?

Я не знал. Это было слишком серьезно для меня. Слишком.

Опять Вадькина жизнь отличалась от моей. Опять он думал о таком, чего я не знал. Не знал, это не значит – не понимал. Понимать понимал, но разве все? Маленькую частичку... Вадькина жизнь походила на большой и таинственный дом. Я стою лишь у входа в этот дом. Из открытой двери на улицу падает свет, образуя яркое пятно. И я вижу это пятно. Но вижу лишь его. Что происходит в доме, мне неведомо.

* * *

Мы пошли в столовую. Я пригласил туда Вадьку. Сегодня он не станет шакалить, решил я. Мы разделим мой обед, и все будет прекрасно. Потом подождем Марью и к вечеру поедем у нас. Как велела мама.

Вадим тоже спешил в восьмую столовую. Он забеспокоился, заторопился, и я подумал, что он занервничал из-за еды. Куском хлеба, корками да плиткой жмыха сыт не будешь.

Вдали показалось крыльцо восьмой столовой, и я вспомнил вчерашний день.

– Вадь, – спросил я своего нового друга, пораженный, что забыл выяснить самое главное. – Как ты не побоялся? Вчера-то? Против целой шайки?

– А-а, – вспомнил он. И вдруг брякнул такое, что я опешил: – Не знаю.

– Как «не знаю»? – поразился я. – Чуть не задушил этого Носа, а сегодня не знаешь!

– Голодный был, – усмехнулся Вадим. – Вот сегодня не смог бы, убежал. А когда человек голодный, он сатанеет. У меня вчера уже в ушах звенело. Думаю: «Черт с ним, все надоело». Ну и вцепился. А что делать?

Я крутил головой, рассказывал в лицах, как Нос сначала грозился, пугал, а потом плакал и как победитель Вадька вдруг поехал вниз по забору и – раз! – в обморок. После победы-то. И как тетя Груша бежала с кружкой в вытянутой руке.

– Вадик! Коля! – услышали мы Марьяин крик. Ока бежала за нами, если это, конечно, можно было признать бегом. Двигалась каким-то таким странным манером – быстрым шагом и медленными пробежками. Минуты две она не могла говорить, пока, наконец, добежала до нас.

– Вадик, почему ты не ходишь в школу? – спросила она в конце концов. – Почему ты обманываешь меня? Тебя везде ищут.

Вадим не на шутку смутился. Такой человек, как он, должен был отмахнуться, сказать: «Подумаешь!» Или что-нибудь в этом роде. А он стоял перед Марьей, опустив глаза, будто его ругает взрослый человек, имеющий такое право.

– Меня сегодня вызывал директор, – сказала Марья. – Дал талоны в восьмую столовую, велел, чтобы и ты их получил в своей школе. Очень обижался. Они откуда-то узнали.

Теперь Вадим смотрел на меня. Пристально, с укором. Но я не понимал его взгляда. Укорять Вадима имел право именно я. Сейчас он пойдет в школу, а я уже прогулял. Ничего себе!

– Это твоя мама! – сказал Вадька.

– Мама? – Я засомневался. Помотал головой. – Когда она успела? У нее ведь работа.

В ту пору я не думал о существовании телефонов. Что такое изобретение есть, известно любому детсадовцу. Но телефонов в наших домах не было. Если требовалось поговорить, люди шли друг к другу. И я подумал о том, что мама не могла сбегать в две школы. К тому же она не знала, где именно учатся Марья и Вадим.

А потом, что тут плохого, если Марье дали талоны?

Я так и сказал Вадиму.

– Но мама, мама, мама! – трижды иступленно повторил он.

– Я директору сказала, – затараторила Марья. – Он и не собирался говорить маме. Он обещал.

– «Обещал, обещал!» – сердито повторил Вадька. Потом улыбнулся, что-то сообразив: – А в какой больнице лежит, не спрашивали?

– Нет! – ответила Марья.

Вадим обрадовался.

– Ну-ка, – воскликнул он, – покажь свои талоны!

Марья протянула ему сжатый кулак, вывалила на его ладонь смятые бумажки.

– Ха-ха, – засмеялся Вадим, – теперь не надо шакалить!

– Еще не все! – смеялась Марья. – Директор сказал, он что-то такое напишет. И мне дадут карточки. Но надо куда-то идти.

Она наклонилась над портфелем и вытащила оттуда большой синий листок.

– Деньги! – воскликнул Вадим.

– Это наша учительница, – сказала Марья. – Тоже ругала меня. А потом дала деньги.

Что-то до странности быстро менялись дела у Вадима и Марьи. Он, видать, тоже подумал об этом.

– Непонятно! – сказал он нам, но Машка засмеялась.

– Если непонятно, – сказала она, – пойдем в столовую. Поешь – и сразу все поймешь.

Мы захохотали. И двинулись к восьмой столовке.

Вадька распахнул дверь в столовую уверенно и спокойно. Народу снова было полным-полно. Некоторые ели одетые, другие стояли к тете Груше. Вадька стал в очередь первым, за ним мы с Марьей. Сегодня мы не торопились.

* * *

– Никак талоны дали? – сказала тетя Груша, когда подошла Вадькина очередь.

Он молча кивнул. Щеки у него опять были в красных рваных пятнах.

– Ну и слава богу! – сказала тетя Груша, подавая ему номерок прямо в руку.

Не торопясь, мы выстояли очередь, и, хотя перед нами снова прорывались большие пацаны, я не возмущался, насвистывал себе потихоньку под нос, говорил с Вадькой и Марьей.

Мы договорились обо всем, и я уже не чувствовал себя шалопаем, прогулявшим уроки. Вадьке, конечно, надо идти в школу, а я с Марьей схожу на почту, она напишет письмо, и мы отнесем его в больницу. Теперь я сопровождал сестру Вадима. Он просил меня об этом. Ясное дело, я не мог отказать, это было бы не по-товарищески. Ведь мне доверяли маленькую девчонку.

Потом мы пойдем к нам. Марья приготовит уроки. Я тоже, естественно. И после школы Вадим явится к нам. Как штык. Была тогда такая поговорка: как штык. Значит, точно. Без подвода. Штык ведь не подводит бойца!

И тут снова вышло приключение. Да еще какое!

Марья получила еду первой и заняла столик. У Вадима в руках оказалось сразу три портфеля. И еще он хотел помочь мне притащить поднос. Мы стали тихо препираться, потом Вадим ушел за ложками, и я его ждал. На какое-то время мы забыли про Машку.

Когда подошли к столику, возле нее сидел парень с лицом, похожим на тыкву.

Ложкой Марья плескалась в своем супчике и парализованно глядела на нас. Будто беззвучно кричала: «Помогите!»

Мы пригляделись. Второго у Марьи не было. Ее второе – опять котлеты – жадно пожирал парень с лицом, похожим на тыкву.

Мы не сели, мы упали на стулья.

– Ты чо? – прошептал Вадим парню.

Тот подумал, мы просто храбрецы и не имеем к Марье никакого отношения.

– Тихо, пацаны! – проговорил парень, не переставая чавкать.

Вадька уже весь напрягся. И я понял, что грянет бой. Торопясь, я снял с подноса тарелки и ухватил его покрепче. Но Вадька медлил. Что-то, видать, мешало ему.

– Попросил бы по-хорошему, – сказал Вадька парню уже погромче.

Тот только хмыкнул.

– Половину бы попросил, – уговаривал Вадим.

– Не ной, – отмахнулся тыквенный парень.

Это походило на гром и молнию. Точнее, на молнию и гром. Сначала в воздухе мелькнул портфель, потом раздался громкий грохот. Мальчишка слетел со стула, миска грохнулась на бетонный пол.

Парень подскочил к Вадиму и прошептал:

– Гад! Попишу!

В руке у него блеснула безопасная бритва, как-то хитро зажатая между пальцев.

Но Вадька уже схватил мой поднос. Если надо, из него получался хороший щит. А если надо, то и боевое оружие, которым здорово можно треснуть по тыквенному кумполу этого пацана.

– Блатной, что ли? – спросил его Вадька.

– Попишу! – вякнул тот, отступая. Отбежал несколько шагов, но, увидев, что Вадим не нападает на него, повернулся и пошел, поглаживая себя по голове. Издалека показал кулак.

Машка сидела ни жива ни мертва. Да и у меня, признаться, тряслись руки. Вадим опять казался спокойным. Даже, кажется, огорченным.

Я заставлял его поест из моей тарелки, но он решительно отказывался. Потом стал причитать, как старуха:

– Зря я его! – Кряхтел, вздыхал и снова повторял: – Зря!

– Чего ты выдумываешь! – возмутился я. – Почему зря? Ведь он грозил, Маша, показывал тебе бритву?

Марья кивнула, но тоже молчала, будто и она жалела этого вора.

Наконец мы договорились. Я заставил Вадима съесть половину моего супа, а котлеты мы разделили на троих.

В миске, которая грохнулась на пол, счастливо уцелела половина котлеты и немного картофельного пюре. Но ни Вадим, ни Марья не прикоснулись к ним. Будто этот злобный парень с бритвой оставил там отравленную слюну.

Еще вчера Вадим бы доел это, да и Марья тоже. Еще вчера Вадим мог бы сам отнять у маленькой девчонки ну если не второе, то кусок хлеба. А сегодня они отводили глаза от тарелки. Будто во всем виновата она.

«Выходит, – подумал я, – когда голод отступает, человек сразу становится другим? Но кто и кем тогда правит? Голод человеком? Человек голодом?»

* * *

Скудный обед только растравил меня. Вадья и Марья были привычнее к недоеданию, но хмурились, все успокоиться не могли.

А солнышко горело ярким, слепящим фонарем, крышу восьмой столовки окантовали стеклянные сосулины, с них не капало, а прямо лилось, и воздух пьянил наши головы. Так что, пока мы дошли до угла, лица Вадима и Марьи уже разгладились, глаза поглубели, наверное, это синее небо переливалось в нас.

Я слышал, как пахла весна. Некоторые, я знаю, не понимают этого. А ведь очень просто! Нужно идти не спеша и медленно, глубоко, до самого дна, вдыхать свежий воздух. И вот когда вдохнешь совсем глубоко, во рту делается свежо и сладко: у весны сладкий вкус.

Я показал, как это делается, Вадиму и Марье.

– Чувствуете? – спрашивал я. – Чувствуете?

Они чувствовали. Задерживали дыхание, чтобы весеннюю сладость подольше сохранить. Будто наслаждались необыкновенными конфетами.

– Может, и есть не надо? – спросила, улыбнувшись, Марья. – Дыши себе и дыши!

– Хорошо бы! – вполне серьезно сказал Вадья. – Вообще, разве не могут ученые придумать, чтобы получать питательные вещества из воздуха?

Я закатился.

– Зря ржешь! – Вадим был совершенно серьезен. – Еще увидим! Ведь эта сладость весенняя из ничего не может получиться. Что-то есть! Какие-то такие, может, пока неизвестные молекулы. И вот делают такой прибор. Вроде курительной трубки, только без табака. Или пусть побольше, размером с музыкальную трубу. Человек втягивает воздух, и специальный прибор перерабатывает его в питательное вещество.

– Какой прибор? – не понял я.

– Который в этой трубе запрятан! – как бестолковому двоечнику, объяснил Вадим.

– А не боишься, – спросил я его ехидно, – что люди быстренько весь воздух слопают? И когда его станет мало, им начнут торговать? Рупь – кубометр. И будут столовки дополнительного питания.

– И там заведутся шакалы, – подхватила Машка.

Мы уже хохотали все троим над Вадьиной антинаучной мыслью.

– И станут хапать у маленьких девчонок! – говорила, покатываясь, Марья. – Хап! Хап!

Она смешно глотала воздух. И все мы вслед за ней, пока еще воздух не выдадут в столовке, начали хапать его тут, на улице. И честное слово, вкусно получалось.

Вот тогда мимо нас мелькнула тень.

Я пригляделся. Да, это пробежал тот тыквенный парень.

Мне показалось, он стукнул Вадью. Или просто его задел...

– Погляди-ка спину, – попросил Вадим.

Я охнул, а Марья в голос заревела.

Новое Вадьино пальто было наискосок разрезано. В щель выглядывала прошитая белыми

нитками прокладка. Ну, которая утепляет.

– Вот гад! – повторял Вадим. – Вот гад!

Он расстегнулся, снял пальто, внимательно оглядел разрез, потом оделся снова, повторяя одно и то же: «Вот гад!»

Потом добавил:

– Теперь его не продашь!

А Машка заливалась! Мы принялись успокаивать ее, но она никак не затихала. Прохожие оборачивались на нас, какая-то старуха, не решаясь приблизиться, стала кричать, что мы обижаем девочку.

– Марья! – напрасно взывал Вадим к сестре. – Ты что? Испугалась?

Она мотала головой.

– Марья! – строго говорил Вадим. – Это на тебя не похоже. Да перестань, а то нас заберут!

Наконец, еще всхлипывая, глубоко вздыхая, как вздыхает, набирает в себя воздуха, постепенно успокаиваясь, всякий горько плакавший человек, она проговорила ломким, прерывистым голосом:

– Мама пальто-то выкупала! Опять расстроится! Плакать начнет!

Вадька нахмурился. Наверное, испугался за свою маму.

– Да не бойтесь вы, – сказал я, – моя бабушка зашьет. Без всяких следов.

– Так не бывает, – еще вздыхала Машка, – чтоб без следов.

– Бывает, – врал я. Только бы она поскорей успокоилась!

Мы уgomонили Вадькину сестру и разошлись – он в школу, а я с Марьей на почту.

Это когда большой парень идет с маленькой девчонкой – ничего особенного, сразу можно догадаться, что сестра. А если я Машки побольше чуть-чуть? Сразу же нарвался на неприятность. Навстречу шла орава обалдуев. Прямо лоб в лоб.

Еще издали эти дураки заорали разными голосами:

– Жених и невеста! Жених и невеста!

Я старался сохранить выдержку, да что толку – сам весь напрягся.

Получилось так, что мы с Марьей двигались по центру тротуара, а мальчишки, как река, разбились на два рукава и толкнули нас друг на дружку.

Тут же они ушли своей дорогой. А мы с Машкой валялись, сбитые с ног: я животом у нее на голове. Какой-то глупый стыд нашел на меня. Будто эти мальчишки не чушь последнюю несли, а говорили правду. И я жених. Да еще перед своей невестой опозорился.

Я неловко поднялся, стал отряхиваться, сердито отвернувшись от Марьи, будто она в чем-то виновата.

– Идиоты! – ругался я. – Охламоны! Дураки!

Марья легкомысленно засмеялась.

– Да чего ты, Коль? – воскликнула она. – Они же просто одичалые. Вот кончится война! Снова мальчишки и девчонки учиться вместе станут! И дикость пройдет! Нам учительница говорила.

Еще этого не хватало! Теперь маленькая Марья успокаивала меня!

* * *

Я должен был помогать ей, раз Вадька доверил мне свою сестру. Но разве сразу сообразишь, какие надо придумать слова, чтобы продиктовать письмо их маме.

Пришлось снять шапку, потому что голова взмокла от напряжения. А Марья сидела рядом со мной, взирая на меня с послушным вниманием. Она взирала, а я потел и краснел. Да еще она оказалась спорщицей – ворчала на каждом шагу.

– «Дорогая мамочка!» – продиктовал я. Так она даже с этим не согласилась.

– В каждом письме «дорогая мамочка!» – сказала Машка. – Надо что-нибудь другое.

– «Любимая мама», – предложил я. Но и это не подошло.

– «Милая наша мамочка», – придумала Марья и, высунув кончик языка, аккуратно вывела на листке, вырванном из тетради.

– «Сегодня я получила...» – продиктовал я. – Сколько ты получила пятерок?

– Ни одной, – вздохнула Машка.

– «Три пятерки», – выдумал я.

Она охотно записала мою ложь.

– «А Вадик, – продолжал я фантазировать, – только одну. Зато по арифметике».

– У них уже нет арифметики, – вскинула голову Марья, – алгебра, геометрия.

– погоди, – проворчал я недовольно. Мне эти предметы были пока неизвестны, а мало ли, маленькая Марья может и перепутать слова. Разбирайся потом. Вдруг их мама забеспокоится, догадавшись про вранье, будет плакать, ей станет хуже. Нет, не мог я рисковать такими серьезными вещами. – «Зато по истории...» – предложил я.

Но Машка не унималась.

– По истории он получил позавчера, – сказала она привередливо. – Что-то часто!

– Тогда по географии, – сказал я.

Наконец-то привереда согласилась.

И тут на меня накатило. Совершенно неожиданно к голове прихлынула кровь (а еще мама говорит – малокровие), и я, может, первый раз в жизни испытал на себе, что такое творческий подъем.

– «Мамочка! После зимней непогоды стало тепло. Греет солнышко, – диктовал я, и Марья уже не упрямилась, наоборот, она пораженно взглядывала на меня, даже не стараясь скрыть восторга. – Чирикают воробьи! Капает капель. Жизнь оживает. Скоро и ты, мамочка, поправишься!»

Я припомнил, что говорил мне сегодня Вадим у себя дома. Надо было и про это написать.

– «По радио, – продолжал я, – все чаще объявляют салюты. Скоро конец войне. Тебе тоже надо поправляться».

Я попробовал вообразить себя на месте Вадьки и маленькой Маши. Меня опять окатила жаркая волна. Перехватило горло горькая тоска: я – и один? Но это невозможно! Схватить себя за голову и завывать!

Пришлось тряхнуть головой. Нет, это не со мной. Слава богу, слава богу! И если мне только что хотелось взвыть, слова в письме, которое я диктую от имени Вадика и Марьи, нужны совсем другие.

Марья дописала предыдущую строчку и смотрела на меня с интересом. Что я еще способен сочинить?

– «Мамочка, – сказал я, думая о том, что почувствовал, – будь спокойна. С нами все в порядке. Ты можешь надеяться на нас. Ни о чем не думай. Только поправляйся. Собери все свои силы. Для решающей победы».

Я, кажется, брякнул это зря, про решающую победу, но Мария воспротивилась.

– Ты что! – горячо зашептала она. – Да я бы такого никогда не придумала. И Вадик тоже.

Пришлось согласиться. Я придумал еще две-три фразы, которые полагаются в конце любого письма, и мы двинулись в больницу.

Путь к ней мы одолели быстрее, чем вчера. Правда, Марья опять останавливалась, но реже и дышала не так загнанно, как накануне.

У тифозных барачков я опять растерялся. На меня напал страх. Мама и бабушка всегда говорили, что именно к этой больнице даже приближаться опасно. А я должен был войти в проходную и передать письмо.

Я остановился, потоптался на месте. И снова меня прошиб пот. Марья, маленькая Машка, окинула меня строгим взглядом и сказала голосом Вадима:

– Ты постой тут, а я схожу.

И двинулась к проходной. Какой позор!

Я метнулся вперед, схватил ее за воротник и с такой силой повернул к себе, что она чуть не упала.

– Стой здесь, – сказал я голосом, не терпящим возражений, и выхватил письмо из ее руки.

Потом я повернулся и уверенным, спокойным шагом двинулся к проходной.

Едва я открыл дверь, на меня жарко дохнуло хлоркой и еще чем-то противно больничным. Но я не дрогнул. Ведь мой страх ждал такого запаха.

В маленькой проходной сидели две женщины. Обе в черных халатах, как говорил Вадим. И лоб и щеки у них были затянуты такими же черными платками. Как будто они хотели побольше закрыть свое тело. Даже на руках у них я увидел черные перчатки.

Сердце мое колотилось совсем по-заячьи.

– Можно передать письмо? – спросил я у черных теток.

– Письмо мо-ожно, – неожиданно добродушно сказала одна тетка. Она казалась повыше.

– Да неплохо бы еще и еды, – вздохнула другая.

Еды? Какой еды? Я ведь не знал об этом. И Вадька ничего не говорил.

Меня обожгло.

Бывает так в жизни, бывают такие мгновения, когда вдруг маленький человек думает совсем взрослому. А человек взрослый, даже старик, убеленный сединой, думает, как малыш.

Почему, отчего это?

Я думаю, потому, что взрослость приходит к нам не однажды, не в какой-то установленный всеми миг. Взрослость приходит, когда маленький человек видит важное для него и понимает это важное. Он вовсе не взрослый, нет. И нету у него взрослого понимания подряд всех вещей. Но в лесу, где много деревьев, которых он не знает, он вдруг догадывается: вот это, пожалуй, пихта. А это кедр. Во множестве сложных вещей он узнает самые главные, понимая их если и не умом, то сердцем.

Ну а взрослый... Это объясняется легче. Просто взрослым надо помнить свое детство. В этом нет ничего стыдного. Наоборот! Прекрасно!

Прекрасно, если взрослый, даже седой человек способен подумать как ребенок.

* * *

Меня обожгло. И я подумал: «А что мог сказать Вадька мне? Что мог он сделать? Отнести кусок жмыха, ломтик черствого хлеба сюда, своей маме?»

Снова перехватило горло.

Его перехватило потому, что я понял Вадькину беспомощность перед этой проходной, перед черными, как галки, тетками, перед тифозными бараками. Перед бедой – своей и маминой.

Он не мог ей помочь. У него не было таких сил.

Я вздохнул, онемелый, – и раз и два.

– Что, милый? – спросила высокая тетка.

– Тебе худо? – заволновалась другая.

– Тяжко без мамки-то? – вздохнула первая.

– О-хо-хо! – вздохнула вторая.

– Нету еды, – сказал я совсем Вадькиным голосом.

Они вздохнули вразнобой.

– Худо! – сказала высокая.

Теперь-то я знал: худо! И страшно оттого, что худо. Надо было уходить. Но я топтался. Какая-то ведь у меня мелькнула мысль.

Да! Я знал, что в госпитале или больнице, если написал записку больному, можно получить ответ: «Как обрадуются ребята, – подумал еще я. – Запляшут, закричат. Еще бы: письмо от мамы!» И я опросил:

– А можно ответ получить?

Черная тетка, что повыше, качнула головой. И сказала страшное:

– У нас ответов не бывает.

Дверь проходнушки жახнула за моей спиной. Ее приходилось оттягивать изо всех сил, потому что держалась она на крепких железных пружинах, но я этот дверной выстрел как тетчины слова понял: приговор!

Я тряс головой, стараясь вытряхнуть дурные мысли, ругал тетку. Надо же, какие слова выбрала, ясное дело, почему ответов не бывает, тифозная ведь больница, не простая, а это значит, зараза передается, это значит, тиф с листочком бумаги, с обыкновенным письмом может вырваться на волю, как страшный джинн... Но тоска меня не покидала. Не отставала она от меня, и все тут.

К Марье я подходил другим человеком. Нет, внешне, конечно, все оставалось таким же, наверное. Но в душе моей много чего произошло за какие-нибудь десять минут.

Виду, однако, подавать не следовало. Не имел я таких прав киснуть, расплываться киселем, пугаться и дрожать.

– Порядок! – сказал я ей бодрейшим из голосов и пошел вперед, не оборачиваясь, чтобы все-таки постепенно прийти в себя.

Машка топала на полшага позади и, слава богу, не видела моего лица, давала мне отсрочку, чтобы я пришел в норму. Она ничего не спрашивала, похоже, знала, что никаких новостей из черной проходнушки не поступает. Отдали письмо, и все. Ждите.

А в моих глазах все еще сидели черные тетки. Опасная работа – служить в такой больнице!

Теперь я думал о черном цвете. Она что, не пристает к черному, эта страшная зараза? Но черный – это цвет смерти.

Опять новая и странная мысль, точно глубокая яма, открылась подо мной. Я подумал, что черный цвет, цвет смерти, люди выбрали в этой больнице из суеверия, из страха, из невозможности победить страшную болезнь. Они знают, что цвет тут ни при чем, он не поможет, но на всякий случай все же обрядились в черное, надеясь, что к нему не должна пристать зараза – смысла ей такого нет!

Тяжелые мысли не исчезают разом. Я уже знал: их разрушает только время и другие события. Будто время – это маленький стальной ломик, который сам по себе ломает черную глыбу – или только глыбку, – если мысли хоть и тяжелые, но не такие большие.

Неожиданно – впрочем, жизнь всегда продолжается неожиданно: случается что-то новое, вот она и идет дальше, наша жизнь, – так вот, неожиданно Машка проговорила:

– Мне Вадика жалко!

Медленно, даже, кажется, осторожно, точно по веревочной лестнице с высокой крыши, я опустил из горьких своих дум обратно на землю. Заставил себя переспросить Марью, чтобы не ошибиться, чтобы не казалось мне, будто я ослышался. Ведь она всегда маму жалела. А про брата я слышал первый раз.

– Жалко Вадьку? – переспросил я.

– Ну конечно, – сказала Марья.

«А! – вспомнил я. – Должно быть, она про пальто».

– Сказано же, – опять принялся успокаивать я, – бабушка зашьет.

– Да я не про то! – ответила Марья. – Я вообще!

Все-таки я был зеленым сопляком по сравнению даже с Машкой. Как ни старался быть понимающим, а если надо, и абсолютно взрослым человеком, все же старание не всегда помогало мне, потому что Вадим и даже маленькая Машка знали горького гораздо больше, чем я.

Я в этом не был виноват. Я знал, что мои дорогие бабушка и мама изо всех сил защищают меня, ограждают от окружающей жизни, очень даже нелегкой, хотят, чтобы я поменьше знал о ней, подольше был обыкновенным ребенком – без всяких горестей, с одними радостями, какие, конечно, можно придумать военной порой. Я понимал, как мама и бабушка страдают от того, что им это не всегда удается, а иногда не удается вовсе, и видел, как они хмурятся и нервничают, если вдруг догадываются, что я знаю больше положенного мне, по их мнению, если вдруг они сознают с огорчением, что, как ни укутывай меня в вату, точно елочную игрушку, когда ее прячут в коробку после новогодней елки, я все равно вижу настоящую правду. Или имею представление о ней по осколкам, которые долетают, добираются до меня.

Нет, человек, даже маленький, не елочная игрушка, его нельзя вынуть только на праздник, дать ему порадоваться огням и смеху, а потом упрятать на целую войну в мягкую, оберегающую от ушибов вату. Человек не игрушка, и – хочешь не хочешь – он будет биться об углы, которые придумывает жизнь, и это битие в конце концов приучает его к мысли, что жизнь не заменишь враньем или – скажем мягче – обманом, даже если этот обман совершенно не грубый, а деликатный и у него нет слов, а есть только молчание: люди молчат и, значит, скрывают правду.

Машка сказала, что ей жалко Вадима, не пальто даже его жалко новенькое – ведь она плакала из-за пальто, – вообще жалко, и мне перед ней неловко стало.

Мне стало неловко оттого, что Вадьку и в самом деле есть за что пожалеть, а вот я благополучней его. Мне не надо шакалить, я живу с талонами на дополнительное питание, у меня есть мама и бабушка, и отец сражается на фронте, жив, жив, слава богу, и я не эвакуированный, а шляюсь тут по своему собственному городу без всяких там печалей. А вот Вадька!

– Знаешь, как ему тяжело? – сказала Марья. И вздохнула. – Да он по ночам стонет, понимаешь? Как больной. Я сперва пугалась, будила его, но потом перестала.

В весеннем снегу таились глубокие синие тени, похожие издали на лужицы, и вообще погода стояла райская. Ни с чем она не желала считаться. Ни с войной, ни со смертью, которая настигала чьего-то отца в этот самый миг, ни с маленькой Машкой, которая вот идет по солнечному свету, а вовсе и не видит его, будто ослепла.

– Вечером я долго уснуть не могу, от голода в животе сосет, ну а утром от голода же проснуться не могу. И Вадька беспокоится, потому что боится, я на первый урок проспую.

Машка заглянула в мое лицо, будто опрашивала, понимаю ли я, о чем она со мной толкует, могу ли я это все осознать.

– И вот он так волю собирает, что от всякого звука просыпается. Боится, чтобы первый гудок не пропустить. И потом трясет меня. – Машка улыбнулась: – Когда он трясет, мне снится, будто я на коне скачу.

На коне! Я усмехнулся. Такие сны мальчишкам могут сниться. А маленькую Машку на коне даже вообразить себе невозможно.

– А в столовке! – воскликнула Машка. – Знаешь, какая стыдоба поначалу! Я вообще к столам ходить не хотела. Раза два в обморок падала. Прямо там. И Вадька мне каждую крошку тащит. Как воробей.

Я припомнил столовских воробьев. Они сидели на железных перекладинах под потолком, но, странное дело, не чирикали. Тогда к гладкорожим мальчишкам слетел воробей ведь молча, схватил хлеб и был такое.

И мне вдруг пришла в голову мысль, что воробьи хоть и залетели к еде поближе, но толку для них от этого мало. Ведь все до крошки зализывают маленькие ребята. Уж извините, воробьи! Ваше молчание так понятно...

– А потом? – спросил я Машку.

– Потом уже не стыдно, – ответила она, опять совсем по-старушечьи вздохнув. И сказанула такое, что мне снова стало не по себе: – Голод убивает всякий стыд.

Этого я не знал. Сам, собственным животом. Такое узнать можно только животом, никак иначе.

Выходило, маленькая Марья учила меня. Как и брат ее Вадька. Добавляла знаний к моему без года и полутора месяцев начальному образованию. Знания эти были из неписанных учебников. Из тех, правилам которых учила нас и наша Анна Николаевна.

* * *

Это потом, во взрослой жизни, дни проносятся без всяких событий. Точнее, людям, привыкшим к разным разностям, просто кажется, что ничего заметного с ними не происходит. Вроде как едят пищу, и она бессолая. Хотя соли достаточно. Вообще есть у еды вкус. Но глотают ее, не замечая. Забылись, как во сне.

Детство прекрасно тем, что в нем множество событий. Не только замечательных, нет. Всякие бывают события в детстве – горестные и прекрасные. Но они бывают, вот что замечательно. Жизнь никогда не кажется безвкусной в детстве. Она и прекрасно сладка, и печально горька, и солоня, конечно же, не всегда в меру.

За день может произойти не то что одно, а множество событий.

В тот день, и так уже до отказа полными разнообразными событиями, мне предстояло пережить еще три.

Целых три!

* * *

Ну, то, что бабушка ждала нас с Марьей, радушно улыбаясь, была оживленна и говорлива, – это, ясное дело, не событие.

Потом мы выучили уроки.

Машка что-то калякала в своих газетных тетрадках. Время от времени она тоненько пищала, но, когда я глядел на нее, мужественно улыбалась. Это газета расплывалась под чернилами. Газеты тогда очень неровные выходили, я по себе знал, у меня ведь тоже такие тетрадки бывали. Но потом папка прислал с оказией трофейных тетрадок. Ну и бумажка в них! На солнце блестит, глазам больно. Лакированная. Я дал одну тетрадь Марье, но она ее в портфель тут же спрятала. Ясное дело: чтобы записки маме писать. Вот. Ну, а неровная газета – это такая, по которой пишешь-пишешь чернилами, и все вроде бы хорошо, а потом – бух! – словно в какую-то невидимую яму попал: чернила расплываются по каким-то тонким сосудикам. Немного удержишь перо – и тут же клякса.

Но учителя знали это дело и отметок не снижали, хотя, например, наша Анна Николаевна советовала делать тетрадки из довоенных газет, если у кого сохранились. Но кто до войны знал, что газеты потребуются для тетрадей? Из всех моих знакомых у одного Вовки Крошкина были такие газеты. Да и то потому, что его мама газеты в сарае складывала. Готовилась к большому ремонту и, получилось, много тетрадок накопила для военных дней. Так Вовка рассказывал. Он даже мне старые газеты давал.

В общем, Марья попискивала, отдергивала перо, учила уроки. Но в этом тоже не было ничего особенного.

Оба мы прислушивались, как за печкой шуршит молодчага моя бабуля. Старается кастрюлями не

бренчать, воду ковшом громко не лить, нам, прилежным ученикам, не мешать. Только с запахами она ничего поделывать не может. Вкусно пахнет вареной картошкой, и у меня начинает сосать под ложечкой, а Марья – так та, чудачка, закрывает уши ладошками, чтобы не слышать этот запах. Ну что ж, понять ее можно: нос ведь не закроешь, дышать одним ртом неудобно, а сосредоточиться и что-то закрыть, чтобы не слышать вкусных запахов еды, все-таки надо.

Если считать ужин событием, то оно еще только назревало, готовилось под мудрым бабушкиным руководством.

События развернулись гораздо раньше.

Почти одновременно пришли мама и Вадим.

Первой вернулась с работы мама. Она быстро разделась, умылась – она учила меня и жила сама по этому правилу: вернулся с улицы, сразу умойся, обязательно с мылом, при этом надо намылить не только руки, но и обязательно лицо, потому что на улице бродят всевозможные бактерии, – так вот, она умылась за печкой, громко звякая соском умывальника, потом вошла в комнату и сделала следующее: ласково поздоровалась с Марьей и строго посмотрела на меня.

Мое сердце дрогнуло. Кошка ведь сразу чует, чью сметану съела. Есть такая поговорка. Я разом вспомнил, как провел сегодняшний день. Но мама не могла ничего узнать – я в этом был абсолютно уверен.

На всякий случай я изъясил мудрую гибкость. Раз мама не здоровается с тобой, а только окатывает подозрительно холодным взглядом, нет ничего зазорного, чтобы первым поздороваться с родной мамой.

Я это и сделал лисьим голосом.

Она кивнула и, кажется, что-то хотела ответить мне. Но именно в это мгновение пришел Вадька.

Он стоял на пороге с совершенно растерянной физиономией. И подтягивал штаны.

Это выглядело довольно забавно, ведь штаны-то под пальто. Вадька стоял какое-то время, потом локтем прихватил пальто там, где находится талия, и поддергивал его вверх. Глаза при этом у него совершали стремительное и неорганизованное движение. Ну просто дергались. На маму, на меня, на бабушку, на Марью, на пол, на потолок, на окно, в сторону.

В одной руке Вадим держал чуть припухший портфель, а в другой пачку учебников и тетрадей, перевязанных брючным ремнем. Пользуясь дедуктивным методом английского сыщика Шерлока Холмса, о котором узнал из детской радиопередачи, я довольно сообразительно вычислил, что вытащить ремень из брюк Вадьку заставили серьезные причины. И эти причины находились в портфеле.

Мама нашлась первой. Она приветливо улыбнулась и сказала Вадьке, чтобы он не стоял на пороге, что довольно странно, а входил и раздевался.

– Это вы? – спросил он каким-то не своим, чуть севшим голосом.

Мама рассмеялась:

– Да как будто это я, действительно.

Вадька смущенно мотнул головой. И обозначил свой вопрос точнее:

– Это сделали вы?

– Да что сделала я? – удивилась мама.

– Смотрите! – сказал Вадька смущенно. Он положил тетрадки, обмотанные ремнем, и открыл портфель.

В нем грудились пакетики и свертки, а поверху несколько разных долей ржаного хлеба. Буханки лежали порезанными неодинаково – вдоль и поперек, были тут и четвертушки, кажется две.

– Откуда это? – опросила Машка.

– Учителя, – сказал Вадька. Он, кажется, чуть отошел, перестал крутить глазами во все стороны, принялся говорить связно: – Такой устроили бенц!

Теперь уже напрягся я. Вадим, похоже, расслабился, его речь лилась раскованно, так болтают мальчишки между собой, забылся товарищ, елки-палки, а когда люди забываются, они могут выболтать что-нибудь лишнее. Хотя бы про сегодняшний день.

Так оно и было. Он с этого и начал, чудак!

– В общем, я несколько дней не ходил в школу, – сказал Вадим и этак скользом проехал взглядом по мне.

«Аккуратней! Аккуратней!» – внушал я ему на расстоянии. Но Вадька ничего не чуял сгоряча.

– Марья мне говорит вдруг сегодня: «Тебя ищут!» – Он обвел глазами присутствующих. – Действительно! Едва разделся, как первый же учитель меня за рукав – и к директору. Ну, думаю, все!

Попался! Выгонят!

Он посмотрел на Машку, как будто услышал ее неслышный упрек, ее предупреждение, наверное, напоминание про маму, ответил ей одной:

– Ой, и не говори! – Потом продолжил рассказ: – Ну и конечно! Начинает прорабатывать! Но не за то, что в школу не ходил. А за то, что не сказал про маму и про карточки.

– У вас что, мужчина директор? – спросила мама.

Вадька на секунду осекся. И тут же засмеялся:

– Не разыгрывайте! Это вы им сказали! Так что вы знаете кто, мужчина или женщина.

Мама пожала плечами.

– Да я даже номера школы твоей не знаю, – оказала она. И кивнула на меня: – Спроси Колю.

Я кивнул. Да что мама! Даже я сам не знал, где учиться Вадька. Все утро хотел опросить и забыл.

Теперь настала пора растеряться ему. Он замолчал. Потом стал скрести макушку. От моей мамы ничего не укроется. Она тут же Вадьку прихватила:

– Давно в бане не был?

Он смутился окончательно. Мама, по-моему, тоже.

– Ну, ладно, – сказала она. – Рассказывай. Про баню позже.

– Директор у нас старичок, – сказал Вадька. – В общем, он ругал, ругал, потом открыл шкаф и объяснил, что учителя собрали нам еды. Всего понемногу. А скоро дадут талоны на дополнительное питание. Марье уже дали. И школа ходатайствует, чтобы нам выдали новые карточки.

Он снова поддернул штаны, теперь уже не через пальто, а напрямую, и уставился на маму.

– А я думал, это вы, – сказал Вадим, приходя в свою обычную форму: мужество плюс спокойствие.

– И-эх, чудак-человек! – вмешалась бабушка. Потом понюхала кухонные ароматы и ринулась к керосинке. Уже оттуда, из темноватой глубины своего закутка, бабушка продолжила свою речь: – Ведь люди вокруг, люди. А ты!..

Мне показалось, она хотела сказать: «А ты шакалишь!» Да вовремя удержалась.

Но бабушку перебила Марья.

– А про маму ты предупредил? – воскликнула она.

Вадим хмыкнул.

– И предупредить не пришлось. Они все знают.

Он засмеялся. Наконец-то совсем пришел в себя.

– Знаешь, он даже что предложил? Наш директор?

Марья мотнула косицами.

– Пойти нам в детский дом. Временно. Пока мама не вернется. А учиться, говорит, будете в своих же школах.

– Чудак-человек, – повторила Марья бабушкиным голосом ее выражение.

Она неторопливо, будто вглядываясь в каждого, будто требуя подтверждения от всех от нас, обвела глазами маму, бабушку, меня и Вадьку.

И сказала каким-то поразительно сухим, я бы даже сказал, официальным голосом – и спрашивая и утверждая сразу.

– Ведь в детском доме, – сказала маленькая Марья, – живут ребята, у которых все родители погибли, а у нас есть мама.

* * *

Портфель Вадима с маленькими кулечками крупы, муки, микроскопическим сверточком масла, хлебом и даже ломтем деревенского сала в чистой тряпице был первым событием из трех последних событий этого дня.

Вторым событием стала баня. Вернее, разговор о ней. Ведь событием может быть и разговор, если он дает пищу для размышлений.

Мама у меня настойчивый человек. Так что, едва мы поели отварной рассыпчатой картошки...

Но сперва Вадька заупряился. Бабушка выставила на стол тарелки, а он приказал Машке собираться.

– Идем! – сказал он каким-то непререкаемым, враз посуровевшим голосом, и Марья принялась послушно и как-то испуганно-суетливо натягивать на себя пальто.

– Ты что? – закричал я, пораженный, Вадиму. – Не чуешь запахов? У тебя насморк?

– У нас же своя еда есть! – искренне удивился мой приятель, указывая на портфель.

– Пого-одьте, – улыбнулась бабушка, – еще успеете съесть свои харчи. Не больно они густы-то!

Но Вадька решительно замотал головой, и я вспомнил, как он еще днем сказал, что, мол, не могут они с Машкой объедать нашу семью. Всем, дескать, теперь лихо, и в каждой семье всяк кусок в счет.

Так что бабушкин призыв на него не подействовал. Тогда взялась за дело мама. Она у меня такая! Может, если надо, и прикрикнуть. И ухватить за плечо крепкой рукой. Усадить силой. Или повернуть к себе, заглянуть в лицо. Мама часто мне повторяет, что она теперь в нашем доме не только за себя, но еще и за отца. Впрочем, это она меня могла взять за плечо мужской рукой, потому что я ее собственный сын. Вадика она бы ни за что за плечо не взяла с силой. И Марью тоже. Она им улыбнулась и сказала, мудрая женщина:

– Что ж, раз война, раз голодно, так и в гости теперь не ходить?

Она спрашивала Вадима, глядела на него мягко и совсем нетребовательно, и, наверное, поэтому он заморгал, захлопал ресницами, смутился опять, постоял, опустив голову, потом вздохнул, словно что-то про себя решил, и, взглянув на маму, улыбнулся.

Она не сказала ни «то-то же», ни «давно бы так», как говорила мне, а ответила Вадиму мягкой улыбкой, повела рукой.

– Прошу к столу!

После ужина настойчивая мама опять взялась за свое.

– Понимаете, – сказала она, переводя взгляд с Вадима на Марью и обратно, словно взывая к их общему разуму, – я ведь медицинский работник, а ваша мама больна, так что от гигиены... ну от того, как часто вы ходите в баню, зависит не только здоровье, но даже жизнь.

Что ж, мама оказалась права: у брата и сестры, похоже, был общий разум и общие сложности. Они потупились и замолчали. Первым заговорил Вадька.

– Да не-ет! – сказал он, будто с чем-то споря. – Как маму-то увезли, так и нас тут забрали. И все белье тоже, в это, как его...

– В санобработку, – подсказала мама.

– Во, во!

Он хмыкнул и заговорил поживее, раскачался наконец.

– Догола раздели, велели шпариться изо всех сил в самой обыкновенной бане. А одежду всю увезли. Когда привезли, она горячая была! Пришлось ждать, пока остынет.

– А у меня, – улыбнулась Машка, – в пальто целлулоидный гусенок остался. Потом одеваюсь! Хвать! А вместо гусенка такой корявый кусочек. Весь расплавился.

– Ну-ну! – подбодрила их мама. – А потом? После этого-то ходите в баню?

Снова они помолчали, но Марья махнула рукой и произнесла:

– Ладно уж, я расскажу!

Вадим вздохнул облегченно. Будто Марья с него поклажу сняла. Кстати, ее лицо тоже прояснилось. Это бывает, когда человек на что-то серьезное решается. Хотя, как выяснилось, серьезного тут ни на чуточку не было. Одна смехота. Правда, это теперь Машка хихикала, прыскала в ладонь. А тогда небось не очень-то.

В общем, их мама им обоим разобъяснила, что маленьким поодиночке в баню лучше не ходить. Во-первых, говорила она, маленький один вымыться как следует не в состоянии. Что ж, она была права. Я сам, когда однажды самостоятельно в баню ходил, все запомнить старался, чего я уже намылил разок, а чего нет. Руку там, ногу, да и какую именно.

Но ладно, ладно, про себя потом, сперва про Машку.

Ну так вот. Во-первых, значит, маленький один не вымоется. Ясное дело, это относилось не к Вадьке. И пока мама была дома, они ходили с Машкой в женскую баню. Все в порядке. Но вот мама заболела и почувствовала, что ее положат в больницу. Тогда она заволновалась и стала говорить всякие нужные вещи. Про карточки, чтоб не потеряли. Про учебу, чтобы ни о чем не думали и знали себе учились. И про баню.

В бане, говорила она, Машка ни за что не вымоется одна, ей нужна помощь, да это и опасно, можно ошпариться горячей водой, если дочка потащит шайку сама, сил не хватит – и она опрокинет воду на себя или, не дай бог, поскользнется на мокром бетонном полу, упадет и сломает руку или ногу или, того хуже, ударится головой.

Она была в поту, ее лихорадило, а она все говорила про баню – может, уже наступил бред, – требовала, чтобы Вадик не отпускал Марью одну, а брал ее с собой, в мужское отделение, никакого тут нет стыда, если брат привел маленькую сестренку, маленьких пускают, ничего страшного. Маме было плохо, Вадим и Марья не могли спорить и дали ей слово все делать так, как она велела.

Ну вот. Маму увезли. Прошло сколько-то времени, и настала пора идти в баню. Машка стала

отнекиваться, а Вадим ругаться. К тому времени Марья уже потеряла карточки, поэтому больших шансов доказать, что в баню можно и не ходить, у нее не было. Когда в доме тиф, есть или был, надо чаще мыться. Как можно чаще. Об этом радио все уши прожужжало. И плакаты везде висели, страшненькие такие плакаты: нарисована большая вошь и под ней черное большое слово «ТИФ».

Вадька был грамотнее Марьи, плакаты читал, и звуки радио в него тоже залетали. Поэтому он собрал мочалку, мыло – к тому же и мочалка была всего одна, и мыла плоский такой остаток, обмылок, – велел Марье прогладить утюгом трусишки да рубашки свои и Вадимовы, взял Марью за руку и силком повел в баню.

– Вы знаете, какой ужас! – причитала Марья и даже сейчас еще краснела. – Какой стыд! Вокруг одни голые мужчины! И я одна среди них! А Вадька! Ругается! И какие-то мальчишки над ним смеются.

– «Мужчины!»! – передразнил ее Вадим. Первый раз я увидел, как вежливость по отношению к сестре изменила ему. Видно, это было выше его сил. – Одни старики да мальчишки!

– Какая разница! – воскликнула Марья. – В общем, я решила, будь что будет. Разделась и как в омут нырнула.

– Ну и что? – спросил Вадим голосом человека, знающего ответ. – И ничего страшного. Раз надо, так надо!

– В мойке стало легче, – согласилась Марья. – Там пар, и ничего не видно. Я прикрылась тазиком, а волосы, видите, короткие, так что на меня никто не посмотрел.

– Забились в угол! – перебил сестру Вадим. – Я ее спиной ко всем посадил. Намылил как следует. Сам воду таскал. – Он засмеялся. – Трусиха, сидела закрыв глаза. Вся тряслась от страха.

Бабушка и мама улыбались, поглядывали на меня, и я отлично понимал, почему они так смотрят. И тут мама сказала:

– Ничего особенного, Машенька. Что же делать? У нас вон Коля тоже со мной в баню ходит!

Надо же! Не смогла промолчать!

Я чувствовал, что заливаюсь горячим жаром, что лицо мое пылает, что уши, наверное, уже похожи на два октябрятских флажка.

Марья выкатила на меня свои шары. «Чего увидела-то?» – хотел спросить я. И тут Вадька воскликнул:

– Видишь, Марья!

Будто какая-то великая правда восторжествовала. А Вадька крикнул снова:

– Так она с тех пор в баню ходить не хочет!

Не успел отпылать я, залилась Машка. Покрылась даже испариной.

Ну, вот и все. Мама принялась говорить Марье, что это глупо, что в баню следует ходить постоянно, она же девочка, надо брать шкафчик в уголке, там тихо раздеваться, по сторонам не глазеть, быстро проходить в мойку и опять в уголок. Очень правильно сделал Вадик, молодец, сразу видно, что большой мальчик, сознательный человек, заботливый брат.

Наверное, она говорила такими же словами, как мама Вадика и Марьи, а может, так говорят все мамы, очень похоже объясняют разные простые вещи, и Вадим умолк, повесил голову, а из Марьиных глаз пошла капель: кап-кап, кап-кап.

Мама все это видела, но не останавливалась, говорила свои слова, считая, наверное, нужным как следует все и очень подробно объяснить, а я думал о том, что все-таки плохо быть маленьким.

Вроде ты и свободен, как все, а нет, не волен. Рано или поздно обязательно потребуется сделать что-то такое, чему душа твоя противится изо всех сил. Но тебе говорят, что надо, надо, и ты, маясь, страдая, упираясь, все-таки делаешь, что требуют.

Вот и выходят всякие глупости. Я, мальчишка, моюсь с мамой в женской бане, а девчонка Машка с братом в мужской.

Где тут истина? Где справедливость?

* * *

Ну и третье событие того вечера.

Да. Есть вещи, которые даже вспоминать противно... В общем, Вадим и Марья пошли домой, я хотел их проводить, но мама меня непустила.

– Почему? – удивился я.

– Есть дело, – строго ответила она.

Сердце снова заколотилось неровно, с перебоями. Но что же, что означает эта странная строгость? Ждать оставалось недолго.

Едва Вадим и Марья вышли, как мама оборотилась ко мне, и я увидел, что лицо ее стало точно таким, как у гипсовой женщины с веслом в скверике у кинотеатра.

– Где! Ты! Сегодня! Был! – не опросила, а отчеканила мама.

«Откуда, откуда она могла узнать?» – думал я совершенно глупо. Будто, откуда именно она узнала, могло иметь для меня хоть какое-нибудь значение.

– Ну... – бормотал я. – Так... В общем... Мы...

Вот так я и проговорился. Так я поставил под вопрос значение Вадима в своей жизни. В маминых, конечно, глазах.

– Ах мы! – воскликнула мама. И уже не дала мне опомниться. – С Вадиком? – продолжала она, и мне не оставалось ничего иного, как послушно кивать. – И с Машей! Ну, ясное дело, и с ней. И все трое! – восклицала мама. – Прогуляли уроки!

Я помотал головой.

– Ах, не трое! Только вы с Вадимом?

Но не мог же я клеветать на невинного человека.

– Значит, с Машей! Но ведь она ходила в школу. Так!..

Даже для мамы не такая простая задача. Требуется поразмыслить. Но только мгновение.

– Сначала, – выносила она обвинение, – ты прогулял с Вадимом! – Ее глаза рассыпали громы и молнии. – А потом с Машей.

Я кивнул и кивнул еще раз. «Хорошо, хорошо, – как бы говорил я. – Но выслушай же, в конце концов. Даже злостный преступник и тот имеет право на объяснение своих действий».

Мама стояла, скрестив руки на груди, совсем как Наполеон Бонапарт. Только вот треуголки на ней не было. Ну и, конечно, брюк. А так вылитый император. А рядом с ним покорная слуга – внимательная, качающая головой, осуждающая меня бабушка.

«Да погодите вы! – встряхнулся я. – Выслушайте меня». И пролепетал:

– Мы искали еду.

– Что? – воскликнула мама.

А бабушка горестно подперла ладонью подбородок.

– Что? Что? Что? – выкрикивала мама, будто боялась, что не так меня поняла. Ослышалась. – Ты? Искал? Еду?

– Ну да! – сказал я. – С Вадиком. Достали жмых. Только он невкусный. Его надо пилить. Напильником.

Когда человека обвиняют не совсем уж напрасно, он чаще всего занимается объяснением ничего не значащих мелочей. И как правило, это только раздражает обвинителей. Маму тоже понесло. Этот жмых, которого она, может, никогда и не видала, словно свел ее с ума.

Она вдруг заговорила с бабушкой. Есть такая манера у взрослых: при тебе обращаться к другому человеку, выкрикивая всякие вопросы.

– Представляешь? – крикнула она бабушке. – Мы бьемся! Как мухи в ухе! Работаем! Не покладая рук! Экономим! Думаем о нем и на работе, и даже во сне! А он! Прогуливает уроки!

Есть еще и другой способ пытки. Обращаются вроде к тебе, а ответить не дают. Отвечают сами.

– Ты что, голоден? – спросила меня мама, но даже не взглянула на меня. – Сыт! Ты разут? Нет, обут! У тебя нет тетрадок? Есть! Тебе холодно? Ты живешь в тепле! Тогда чего же тебе надо? – воскликнула она, и я подумал, что хоть сейчас-то дадут слово мне. Не тут-то было! У мамы на все имелись свои ответы. – Хорошо учиться! – сказала она. И прошла от стола до шифоньера. – И уж конечно! Не пропускать уроков!

Без всякого перехода Наполеон Бонапарт опустил руки и зашмыгал носом. Самый худший вид пытки – материнские слезы. Да еще из-за тебя. Я этого не мог переносить совершенно. Мне сразу хотелось в прорубь головой.

Но вот мама пошмыгала носом и произнесла уже обыкновенным, вполне маминым голосом сквозь скорые, будто летний дождь, слезы:

– Мы с бабушкой стараемся, а ты!

– Больше не буду! – искренне и даже горячо сказал я единственно возможное, что говорят в таких случаях.

– Выходит... – вдруг успокоилась мама. И дальше бухнула жуткую ерунду: – Выходит, на тебя плохо влияет Вадик!

Мне даже уши заложило от гнева.

– Как не стыдно! – крикнул я ей. Нет, не просто крикнуть такие слова маме. Да еще повторить: – Как тебе не стыдно!

Меня всего колотило! Ну, эти взрослые! Им лень поверить собственным детям. Им все кажется, будто их надуют. Трудно разве – возьми расспроси по шажочку каждый час целого дня. Попробуй понять! Раздавить легче всего. Попробуй понять, вот что самое главное. И потом, почему надо думать, будто дети хуже всех? Так и рвутся к беде, к гадостям, так и рвутся натворить каких-нибудь позорных безобразий.

Маму мой отчаянный крик остановил. Так мне показалось. Но что-то рухнуло во мне. Какая-то тонкая перегородочка сломалась.

* * *

Ах, взрослые, умные, мудрые люди!

Если бы знали вы, как тяжелы ваши окрики! Как неправильно – не звучит, а действует ваше слово, в которое, может, и смысла вы такого не вкладывали, но вот произнесли, и оно звучит, звучит, как протяжный звук камертона в маленькой душе долгие-долгие годы.

Многим кажется, что пережить, коли дело имеешь с малым, совсем не вредно, пожалуй, наоборот: пусть покрепче запомнит, зарубит на носу. Жизнь впереди долга, и требуется немало важных истин вложить в эту упрямую голову.

Кто объяснит вам, взрослые, что хрупкое легко надломить. Надлома, трещины и не заметишь, а душа пойдет вкось. Глянь, хороший ребенок вдруг становится дурным взрослым, которому ни товарищество, ни любовь, ни даже святая материнская любовь не дороги, не любы.

Хрупкая, ломкая это вещь – душа детская. Ох, как беречь надо бы ее, ох, как надо!..

* * *

То ли слишком послушным был я тогда, то ли слишком слабым, то ли привык жить в таком коконе, какой сплели вокруг меня мама и бабушка, а дрогнул я духом.

Не вышло дружбы у меня с Вадиком и Марьей, вышло знакомство. Я заходил к ним домой, и они приходили к нам, бабушка угощала, чем могла. Но чаще всего мы встречались в столовке – и у Марьи и у Вадика были теперь талоны на дополнительное питание, да и новые карточки они тоже получили еще до конца апреля.

Случалось, к нам подсаживались мальчишка или девчонка, просили дрожавшими, тихими, униженными голосами: «Оставь! Оставь чуточку!» И они оставляли. Теперь оставляли они. Ни Нос, ни тот тыквенный пацан никогда больше не приближались к нам, хотя я видел их в восьмой столовке. Бывшего шакала Вадьку хорошо знали тут и предпочитали с ним не связываться.

Впрочем, может, была совсем другая причина, что мы не стали друзьями, – время?

Слишком мало его оказалась у нас. Слишком!

Я узнал Вадьку и Марью в первые дни апреля, а весна самая короткая пора года – кому не известно это?

Весна мчится! Она похожа на добрую дворничиху, эта прекрасная весна! Сметает остатки сугробов, почерневший лед на дороге. Смывает ручьями городскую грязь. Сдувает тяжкие тучи с неба и чистыми губками белых облаков протирает, протирает, как прилежная хозяйка оконное стекло, небо до радостной и ясной голубизны.

Весна – слуга солнца, она работает у него маляром. Раз – и выкрасила тополя в розовый цвет клейких сережек. Раз – и покрыла землю зеленой краской травы. Раз – и мазнула сады и леса белой черемухой.

Весна и на людей влияет. Разгибает спины тех, кто опустил плечи. Разглаживает морщины на лицах. Заставляет вдохнуть поглубже воздух, пьянящий до головокружения.

Весна готовит землю и людей к лету, заставляет поторапливаться даже ребят, которым кажется, что вся жизнь у них впереди и спешить совершенно некуда. Жизнь-то, конечно, впереди, но, как известно, неподалеку конец четвертой четверти в школе, конец учебного года, последние отметки, а начиная с четвертого класса – экзамены и совсем невидимый шагок в следующий класс. Вот так-то!

Ну а та весна вообще была необыкновенной. Голос Левитана становился все торжественней. Все медленнее и тщательнее, как будто прибавляя им весу, выговаривал он каждое слово в сообщениях от Советского Информбюро.

Еще бы! Наши сражались в Германии!

Бились в Берлине!

Первомай вошел в наш городок зеленью и обещанием небывалого счастья.

Еще, еще денек. Еще...

А мама была мудрым человеком. Не раз возвращаясь с работы, тихонько улыбалась и говорила:

– Встретишь Вадика или Машу, скажи, что их мама чувствует себя неплохо.

Первый раз, когда она сказала это, я не поверил:

– Откуда ты знаешь? Туда никого не пускают!

– Ну-у, – улыбнулась мама загадочно. – Я ведь медицинский работник.

И я передал два или три раза Вадьке мамино сообщение. Мама никогда не подводила. Уж если говорит, сомневаться не приходится.

Да и вообще! Весна вокруг! Скоро конец войне! Черная проходнушка с черными, как вороны, санитарками уже казалась мне невзаправдашной, явившейся в болезненном сне, не наяву. Все готовилось к счастью и миру, а если человек очень сильно думает о празднике, он забывает про беду.

Был в сорок пятом, как в любом году жизни, такой день – восьмое мая. Когда он настал и когда двигались часовые стрелки, отмеряя его длину, никто в нашем доме и во всем нашем городе еще не знал, будто это какой-то особенный день. Да и потом мы не очень думали про него – кто будет горевать о последнем дне войны, если рядом с ним стоит первый день мира! Но он все-таки был, этот день. Последний день войны.

Война умирала нехотя. Все было ясно, а где-то там, в Берлине, еще строчили автоматы и ухали пушки.

Восьмое мая началось как обычно. Весна рвалась в окна солнечными щедрыми шторами, клокотала мутными ручьями, орала грачиными голосами. Так что все шло своим ходом.

Я уже давно выучил уроки, когда мама вернулась с работы.

Вообще я считал себя внимательным человеком, но вначале ничего не заметил. Хотя потом, когда прошло время, и я понял чуть побольше, чем понимал тогда, мне стало понятно, отчего мама не вошла сразу в комнату, почему сразу занялась какими-то делами на кухне, отчего долго умывалась и говорила с бабушкой подчеркнуто легким голосом.

Потом она вошла в комнату, порылась на комодке, в шкатулке перед зеркалом – на этой шкатулке сияли под ярким солнцем невиданные пальмы на берегу зеленого моря, а внутри хранились всякие женские мелочи – заколки, наперстки, пустой флакончик из-под довоенных духов, довоенная и уже высохшая без употребления губная помада. Ничему этому не стоило придавать ровным счетом никакого значения. Я и не придавал. Это потом уж я подумал, что мама копалась в своей шкатулке слишком долго для ее скорого характера.

Потом она обернулась, сделала шаг ко мне и поцеловала меня в макушку. Я даже вздрогнул с перепугу. Не то чтобы мама не ласкала меня, напротив! Я рос, пожалуй, скорее, заласканным, с каким-то девичьим, от жизни в женской семье, характером. Но мама поцеловала меня так неожиданно, что я дернулся, хотел обернуть к ней лицо, но у меня ничего не вышло: мама крепко держала меня за голову. Она не хотела, чтобы я видел ее.

Потом стремительно, как всегда, отошла к окну. И я увидел, что она плачет.

Ужас! Меня всегда охватывал ужас, когда мама вдруг плакала. Потому что она никогда не плакала за всю войну. Раза три или четыре, а может, пять в счет не шли. Я точно знал: мама может плакать только от большой радости или большого горя. Поэтому при виде ее дрожащих плеч мне приходило в голову самое худшее. Отец! Что-то случилось с отцом!

Конечно, я закричал, вскочив:

– Что с папой?

Мама испуганно обернулась.

– Нет! Нет! – воскликнула она. – С чего ты взял!

– А почему ты плачешь? – спросил я по-прежнему громко, хотя и успокаиваясь...

– Просто так! – сказала мама. – Просто так!

В дверях уже стояла бабушка, она тоже с подозрением оглядывала маму, ей тоже не верилось, что мама станет плакать просто так, ясное дело.

Мама улыбнулась, но улыбка вышла кривоватая.

– Честное слово, – проговорила она, – я просто так. Подумала о папе... Где-то он там?

Где-то он там? Что-то с ним? Боже, сколько я думал об этом!.. Словом, и я, и бабушка – мы, конечно, сразу стали думать про отца, погрузившись, и я решил, что, пожалуй, мама имеет полное право всплакнуть.

В молчании мы поели. И мама вдруг спросила меня:

– Как там Вадик? Как Маша?

– В баню ходят исправно, – ответил я.

– Вот видишь, – оказала мама, – какие молодцы. – Она помедлила, не сводя с меня внимательного взгляда, и добавила: – Просто герои. Самые настоящие маленькие герои.

Глаза ее опять заслезились, словно от дыма, она опустила лицо к тарелке, потом выскочила из-за стола и ушла к керосинке.

Оттуда она сказала подчеркнуто оживленным голосом:

– Коля, а давай сегодня к ним ходим. Я ведь даже не знаю, где они живут.

– Давай, – сказал я скорее удивленно, чем радостно. И повторил веселей: – Давай!

– Мама! – Это она обращалась к бабушке. – Соберем-ка им какой гостинец, а? Неудобно ведь в гости с пустыми руками.

– Да у меня ничего и нет такого-то! – развела руками бабушка.

– Муцицы можно, – говорила мама, шурша в прихожей кулками, брякая банками. – Картошки! Масла кусочек. Сахару.

Бабушка нехотя вышла из-за стола, там, за стенкой, женщины стали перешептываться, и мама громко повторила:

– Ничего, ничего!

В комнату Вадика и Марьи мама вошла первой и как-то уж очень решительно. Ее не удивила убогость, она даже и на ребят не очень глядела, и вот это поразило меня. Странно как-то! Мама принялась таскать воду, взяла тряпку, начала мыть пол, а в это время шипел чайник, и мама перемыла всю посуду, хотя ее было мало и она оказалась чистой.

Мне показалось, мама мучает себя нарочно, придумывает себе работу, которой можно и не делать, ведь пол в комнате был вполне приличный. Похоже, она не знала, за что взяться. И все не глядела на Вадика и Марью, отворачивала взгляд. Хотя болтала без умолку.

– Машенька, голубушка, – тараторила мама, – а ты умеешь штопать? Сейчас ведь, сама знаешь, как худо. Учиться, учиться надо, деточка, и это очень просто: берешь грибок такой деревянный, ну, конечно, грибок не обязательно, можно на электрической лампочке перегорелой, можно даже на стакане, натягиваешь носок, дырочкой-то кверху, но и ниткой, сперва шовчик вдоль, потом поперек, не торопясь надо, старательно, вот и получится нитяная штопка, это всегда пригодится...

В общем, такая вот говорильня на женские темы, сперва про штопку, потом как борщ готовить, потом чем волосы мыть, чтобы были пушистые, – и так без передыху, не то что без точки, без паузы, но даже без точки с запятой.

И все бы ничего, если бы не одно важное обстоятельство, впрочем, известное одному мне. Обстоятельство это заключалось в том, что мама терпеть не могла такой болтовни и мягко, но решительно прерывала подобные разговоры, если за них принималась какая-нибудь женщина, зашедшая к нам на огонек. Я слушал и не верил своим ушам.

Наконец вся комната оказалась прибранной и прочищенной, чай вскипел, и не оставалось ничего другого, как сесть за стол.

Мама первый раз за весь вечер оглядела Вадика и Марью. Вмиг она умолкла и сразу опустила голову. Вадька понял это по-своему и стал неуклюже, но вежливо благодарить. Мама быстро, скользом глянула на него и неискренне засмеялась:

– Ну что ты, что ты!

Я-то видел: она думает о другом. Нет, честное слово, мама не походила на себя сегодня. Будто с ней что-то случилось, а она скрывает. И это ей плохо удастся.

Мы попили чай.

Пили его с хлебом, помазанным тонким, совершенно прозрачным слоем масла, и с сахаром – совсем по-праздничному. Сахару было мало, и мы ели его вприкуску, ничего удивительного. Пить чай внакладку считалось в войну непозволительной роскошью.

Сахар к чаю было тоже военный, бабушкин.

Получив паек песком, она насыпала его в мисочку, добавляла воды и терпеливо кипятила на медленном огне. Когда варево остывало, получался желтый ноздреватый сахар, который было легко колоть щипцами. А главное, его становилось чуточку больше. Вот такая военная хитрость.

Мы пили чай, ели черный хлеб с маслом, прикусывали сахарку помалу, а стрелки часов подвигались к краю последнего дня войны, за которым начинался мир. Разве мог я подумать, что это последний наш чай в этой уютной комнате?..

Потом мы вышли на улицу. Вадик и Марья улыбались нам вслед.

Стояли на пороге комнаты, махали руками и улыбались.

Я еще подумал: как будто они уезжают. Стоят на вагонной ступеньке, поезд еще не тронулся, но вот-вот тронется. И они куда-то поедут.

Мы вышли на улицу, и я снова почувствовал, что с мамой неладно. Губы у нее не дрожали, а просто тряслись.

Мы повернули за угол, и я опять крикнул:

– Что с папой?

Мама остановилась, сильно повернула меня к себе и неудобно прижала к себе мою голову.

– Сыночка! – всхлипнула она. – Родной мой! Сыночка!

И я заплакал тоже. Я был уверен: отца нет в живых.

Она еле отговорила меня. Клялась и божилась. Я успокоился с трудом. Все не верил, все спрашивал:

– Что же случилось?

– Просто так! – повторяла мама, и глаза ее наполнялись слезами. – Дурацкое такое настроение! Прости! Я расстроила тебя, глупая.

* * *

А потом настало завтра! Первый день без войны.

Я ведь, конечно, не понимал, как кончаются войны, – подумаешь, без года и одного месяца начальное образование! Просто я не знал, как это делается. Правда, я думаю, и бабушка моя не представляла, и мама тоже, и многие-многие взрослые, которые не были на войне, да и те, кто были, – не могли вообразить, как закончилась эта проклятая война там, в Берлине.

Перестали стрелять? Тихо стало? Ну а что еще? Ведь не может же быть, чтобы перестали стрелять – и все кончилось! Наверное, кричали наши военные, а? «Ура!» орали изо всех сил. Плакали, обнимались, плясали, палили в небо ракеты всех цветов?

Нет, чего ни придумай, чего ни вспомни, все будет мало, чтобы небывалое счастье выразить.

Я уж думал: может, заплакать надо? Всем-всем-всем заплакать: и девчонкам, и пацанам, и женщинам, и, конечно, военным, солдатам, генералам и даже Верховному Главнокомандующему у себя в Кремле. Встать всем и заплакать, ничегошеньки не стыдясь, – от великой, необъятной, как небо и как земля, счастливой радости.

Конечно, слезы всегда на вкус соленые, даже если плачет человек от радости. А уж горя-то, горя в этих слезах – полной чашей, немереного, крутого...

Вот и мама – она меня в тот день слезами умыла. Я еще опал, она схватила меня спящего, что-то шепчет, чтобы не напугать, а на лицо мне ее горячие слезы капаят: кап-кап, кап-кап.

– Что случилось?

Я вскочил перепуганный, взъерошенный как воробей. Первое, что мне в голову пришло: я был прав. Отец! Нельзя же плакать без серьезных причин целый вечер и утро в придачу!

Но мама мне шепнула:

– Все! Все! Конец войне!

«Почему она шепчет? – подумал я. – Об этом же кричать надо!» И гаркнул что было сил:

– Ура-а-а!

Бабушка и мама прыгали возле моей кровати, как девчонки, смеялись, хлопали в ладоши и тоже кричали, будто наперегонки:

– Ура-а-а!

– Ура-ура-ура!

– А когда? – спросил я, стоя на кровати в трусах и майке. Надо же, отсюда, сверху, наша комната казалась огромной, просто целый мир, и я, простофиля, об этом не знал.

– Что – когда? – засмеялась мама.

– Когда конец войны настал?

– Рано утром объявили. Ты еще спал!

Я вскипел:

– И меня не разбудили?

– Жалко было! – сказала мама.

– Ты что говоришь! – опять закричал я. – Как это жалко? Когда такое, когда такое... – Я не знал, какое слово применить. Как назвать эту радость. Так и не придумал. – А как, как?

Мама смеялась. Она меня понимала сегодня, отлично понимала мои невнятные вопросы.

– Ну, мы с бабушкой выскочили на улицу. Утро только начинается, а народу полно. Да ты вставай! Сам увидишь!

Никогда в жизни – ни до, ни после – мне не хотелось так на улицу. Я лихорадочно оделся, обулся, умылся, поел и вылетел во двор в распахнутом пальто.

Погода стояла серенькая, унылая, что называется, промозглая, но если бы даже бушевала буря и гром гремел, мне этот день все равно показался бы ярким и солнечным.

Народ двигался прямо по булыжной мостовой, освободившейся от снега. Ни одного человека не было на тротуарах. И знаете, что пришло мне сразу же в голову? Тротуары ведь сбоку от дороги, с двух сторон. Люди ходят по одной и по другой стороне в обычные дни, двумя самостоятельными дорожками. А тут дорожки стали смешны! Глупо до отвратительности! Людей потянуло в толпу, на самую середину дороги. Как можно шагать на расстоянии друг от друга? Надо соединиться, чтобы видеть улыбки, говорить приветливые слова, смеяться, жать руки незнакомым людям!

То-то радость была!

Будто все на улице знакомые или даже родные.

Сперва меня обогнала ватага мальчишек. Они кричали «ура!», и каждый стукнул меня – кто в бок, кто по плечу, но не больно, а дружески, и я тоже крикнул:

– Ура-а-а!

Потом мне навстречу попался коренастый старик с окладистой бородой. Лицо его показалось мне мокрым, и я подумал, что он, наверное, плачет. Но старик гаркнул бодрым голосом:

– С победой, внучок! – И рассмеялся.

На дороге стояла молодая женщина в клетчатом платке, совсем девушка. В руках она держала сверток с ребенком и громко приговаривала:

– Смотри! Запоминай! – Потом счастливо смеялась и снова повторяла: – Смотри! Запоминай!

Будто этот несознательный младенец может что-нибудь запомнить! Ему, похоже, было не до праздника, он орал в своем кульке, этот карапуз. А его мать опять рассмеялась и сказала:

– Правильно кричишь. Ура! Ура! – И спросила меня: – Ты видишь? Он кричит «ура!»

– Молодец! – ответил я.

А женщина крикнула:

– Поздравляю!

На углу стоял инвалид, ему подавала почти каждая женщина, которая проходила мимо, – это раньше, в простые дни. У него не было правой руки и левой ноги. Вместо них подвернутые рукав и штанина – гимнастерки и галифе.

Обычно он сидел на деревянном чурбачке, перед ним лежала зимняя шапка со звездочкой, в эту шапку и бросали монеты, а сам инвалид бывал пьянехонек, впрочем, и молчалив, никогда ничего не говорил, только смотрел на прохожих и скрипел зубами. Слева на его груди слабо взблескивала медаль «За отвагу», зато на правой половине гимнастерки, будто погон нашили длинный ряд желтых и красных полосок – за ранения.

Сегодня инвалид был тоже выпивши, и, видать, крепко, но не сидел, а стоял, опираясь о костыль тем боком, где должна быть правая рука. Левую он держал возле виска, отдавая честь, и некуда было ему класть сегодня подавание.

Он бы, может, и не взял. Стоял на углу, как живой памятник, и к нему с четырех сторон подходил народ. Женщины, которые посмелее, подходили к нему, целовали, плакали и тут же отходили назад. И он каждой отдавал честь. Все так же молча, будто немой. Только скрежетал зубами.

Я пошел дальше. И вдруг чуть не присел – такой раздался грохот. Совсем рядом со мной стоял человек в погонах майора и палил из пистолета. Трах-трах-трах! Он выпустил целую обойму и засмеялся. Это был прекрасный майор! Лицо молодое, усы как у гусара, и на груди целых три ордена. Погоны горели золотом, ордена позванивали и блестели, сам майор смеялся и кричал:

– Да здравствуют наши славные женщины! Да здравствует героический тыл!

Возле него сразу свилась толпа. Женщины, смеясь, начали вешаться майору на шею, и их нависло сразу столько, что военный не выдержал и рухнул вместе с женщинами. А они кричали, визжали, смеялись. Я не успел моргнуть, как все поднялись, а майора подняли еще выше, над толпой, какое-то мгновение он был вот так, над женщинами, потом упал, только уже не на землю, а им в руки, они ухнули и подкинули его в воздух. Теперь сиял не только майор, но и его блестящие сапоги. Он еле уговорил остановиться, едва отбил. За это его заставили поцеловать каждую.

– По-русски, – кричала какая-то бойкая тетка. – Три раза!

В школе вообще творилось что-то несусветное. Народ бегал по лестницам, орал, весело толкался.

Мы никогда не допускали телячьих нежностей, это считалось неприличным, но в счастливый День Победы я обнялся с Вовкой Крошкиным, и с Витькой, и даже с Мешком, хоть он и олух царя небесного!

Все прощалось в этот день. Все были равны – отличники и двоечники. Всех нас любили поровну наши учителя – тихонь и забияк, сообразительных и сонь. Все прошлые счеты как будто бы закрывались, нам как бы предлагали: теперь жизнь должна идти по-другому, в том числе и у тебя.

Наконец учителя, перекрикивая шум и гомон, велели всем строиться. По классам, внизу, на небольшом пятачке, где устраивались общие сборы. Но по классам не вышло! Все толкались, бродили, и перебегали с места на место, от товарища к знакомому из другого класса и обратно. В это время директор Фаина Васильевна изо всех сил гремела знаменитым школьным колокольчиком, похожим скорее на медное ведерко средних размеров. Звон получался ужасный, приходилось закрывать ладонями уши, но сегодня и он не помогал. Фаина Васильевна звонила минут десять, не меньше, пока школа чуточку притихла.

– Дорогие дети! – сказала она, и только тогда мы притихли. – Запомните сегодняшней день. Он войдет в историю. Поздравляю всех нас с Победой!

Это был самый короткий в моей жизни митинг. Мы заорали, забили в ладоши, закричали «ура!», запрыгали как можно выше, и не было на нас никакой управы. Фаина Васильевна стояла на первой ступеньке, ведущей вверх. Она смотрела на свою беснующуюся, вышедшую из повиновения школу сперва удивленно, потом добродушно, наконец засмеялась и махнула рукой.

Дверь распахнулась, мы разбились на ручейки и втекли в свои классы. Но сидеть никто не мог. Все ходило в нас ходуном. Наконец Анна Николаевна чуть успокоила нас. Правда, спокойствие было необычным: кто стоял, кто сидел верхом на парте, кто устроился прямо на полу, возле печки.

– Ну вот, – сказала негромко Анна Николаевна, словно повторяла вопрос. – Она любила задавать вопросы дважды: один раз громче, второй – тихо. – Ну вот, – произнесла снова, – война кончилась. Вы застали ее детьми. И хотя вы не знали самого страшного, все-таки вы видели эту войну.

Она подняла голову и опять посмотрела куда-то поверх нас, будто там, за школьной стеной и дальше, за самой прочной стеной времени, просвечивала наша дальнейшая жизнь, наше будущее.

– Знаете, – проговорила учительница, немного помедлив, точно решила сказать нам что-то очень важное и взрослое. – Пройдет время, много-много времени, и вы станете совсем взрослыми. У вас будут не только дети, но и дети детей, ваши внуки. Пройдет время, и все, кто был взрослым, когда шла война, умрут. Останетесь только вы, теперешние дети. Дети минувшей войны. – Она помолчала. – Ни дочки ваши, ни сыновья, ни внуки, конечно же, не будут знать войну. На всей земле останетесь только вы, кто помнит ее. И может случиться так, что новые малыши забудут наше горе, нашу радость, наши слезы! Так вот, не давайте им забыть! Понимаете? Вы-то не забудете, вот и другим не давайте!

Теперь уже молчали мы. Тихо было в нашем классе. Только из коридора да из-за стенок слышались возбужденные голоса.

* * *

После школы я не помчался к Вадьке, он ведь теперь не пропускал уроков, да и разве может хоть кто-нибудь усидеть дома в такой день?

В общем, я пришел к ним в сумерки.

Коммунальный трехэтажный дом, где они жили, походил на корабль: все окна светились разным цветом – это уж зависело от штор. И хотя никакого шума и гама не слышалось, было и так понятно, что за цветными окнами люди празднуют победу. Может, кто-нибудь и с вином, повзправдашнему, но большинство – чаем послаще или картошкой, по сегодняшнему случаю не просто вареной, а жареной. Да что там! Без вина все были пьяны радостью!

В тесном пространстве под лестницей ко мне прикоснулся страх своей ледяной рукой! Еще бы! Дверь в комнату, где жили Вадим и Марья, была приоткрыта на целую ладонь, и в комнате не горел свет. Сначала у меня в голове мелькнуло, будто комнату очистили воры. Где у них совесть, в праздник-то...

Но тут я почувствовал, как в приоткрытую дверь бьет темный луч.

Будто там, в комнате, жарко печет черное солнце и вот его лучи пробиваются в щель, проникают под лестницу. Ничего, что его не видно, это странное солнце. Зато слышно, зато его чувствуешь всей кожей, словно дыхание страшного и большого зверя.

Я потянул на себя дверную ручку. Протяжно, будто плача, заскрипели петли.

В сумерках я разглядел, что Марья лежит на кровати одетая и в ботинках. А Вадим сидит на стуле

возле холодной «буржуйки».

Я хотел сказать, что это великий грех – сумерничать в такой вечер, хотел было отыскать выключатель и щелкнуть им, чтобы исчезло, истаяло странное черное солнце, ведь с ним справится и обычная электрическая лампочка. Но что-то удержало меня включить свет, заговорить громким голосом, схватить сзади Вадима, чтобы он шевельнулся, ожил в этом мраке.

Я прошел в комнату и увидел, что Марья лежит с закрытыми глазами. «Неужели спит?» – поразился я. И опросил Вадима:

– Что случилось?

Он сидел перед «буржуйкой», зажав ладони коленями, и лицо его показалось мне незнакомым. Какие-то перемены произошли в этом лице. Оно заострилось, чуточку усохло, по-детски пухлые губы вытянулись горькими ниточками. Но главное – глаза! Они стали больше. И как будто видели что-то страшное.

Вадим задумался и даже не шелохнулся, когда я вошел, покрутился перед ним и уставился ему в глаза.

– Что случилось? – повторил я, даже не предполагая того, что может ответить Вадька.

А он смотрел, задумавшись, на меня, вернее, смотрел сквозь меня и проговорил похудевшими, деревянными губами:

– Мама умерла.

Я хотел рассмеяться, крикнуть: мол, что за шутки! Но разве бы стал Вадька... Значит, это правда... Как же так?

Я вспомнил, что за день сегодня, и содрогнулся. Ведь конец войне, великий праздник! И разве возможно, чтобы в праздник, чтобы такое случилось именно в праздник...

– Сегодня? – спросил я, все не веря. Ведь мама, моя мама, на которую можно всегда положиться, просила передать Вадику и Маше, будто дела в больнице идут на поправку.

А вышло...

– Уже несколько дней... Ее похоронили без нас...

Он говорил неживым голосом, мой Вадим. И я просто физически ощущал, как с каждым его словом между нами раскрывается черная вода.

Все шире и шире.

Будто он и Марья на маленьком плоту своей комнаты отплывают от берега, где стою я, лопоухий маленький пацан.

Я знаю: еще немного, и черная быстрая вода подхватит плот, и черное солнце, которое уже горит не видимым, а только ощущаемым теплом, светит нестойкому плоту, провожает его в неясный путь.

– Что же дальше? – едва слышно опросил я Вадьку.

Он слабо шевельнулся.

– В детдом, – ответил он. И первый раз, пока мы говорили, он моргнул. Посмотрел на меня осмысленным взглядом.

И вдруг он сказал...

И вдруг он сказал такое, что я никогда забыть не смогу.

– Знаешь, – сказал великий и непонятный человек Вадька, – ты бы шел отсюда. А то есть примета. – Он помялся. – Кто рядом с бедой ходит, может ее задеть, заразиться. А у тебя батя на фронте!

– Но ведь война кончилась, – выдохнул я.

– Мало ли что! – сказал Вадим. – Война кончилась, а видишь, как бывает. Иди!

Он поднялся с табуретки и стал медленно поворачиваться на месте, как бы провожая меня. Обходя его, я протянул ему руку, но Вадим покачал головой.

Марья все лежала, все спала каким-то ненастоящим, сказочным сном, только вот сказка была недобрая, не о спящей царевне.

Без всяких надежд была эта сказка.

– А Марья? – спросил я беспомощно. Не спросил, а пролепетал детским, жалобным голосом.

– Марья спит, – ответил мне Вадим спокойно. – Вот проснется, и...

Что будет, когда Марья проснется, он не сказал.

Медленно пятясь, я вышел в пространство под лестницей. И притворил за собой дверь.

Черное солнце теперь не прорывалось сюда, в подлестничный сумрак. Оно осталось там, в комнатке, где окна так и заклеены полосками бумаги, как в самом начале войны.

* * *

Я видел Вадима еще раз.

Мама сказала, в каком он детском доме. Пришла и сказала. Я понял, что значили ее слезы в день накануне Победы.

Я пошел.

Но у нас ничего не вышло, никакого разговора.

Вадима я разыскал на детдомовском дворе – он нес охапку дров. Конец лета выдался прохладным, и печку, видать, уже топили. Заметив меня, молча, без улыбки, кивнул, исчез в распахнутой пасти большой двери, потом вернулся.

Я хотел спросить его, мол, ну как ты, но это был глупый вопрос. Разве не ясно как. И тогда Вадим спросил меня:

– Ну как ты?

Вот ведь один и тот же вопрос может выглядеть глупо и совершенно серьезно, если задают его разные люди. Вернее, люди, находящиеся в разном положении.

– Ничего, – ответил я. Сказать «нормально» у меня не повернулся язык.

– Скоро нас отправят на запад, – проговорил Вадим. – Уезжает весь детдом.

– Ты рад? – спросил я и потупил глаза. Какой бы вопрос я ни задал, он оказывался неловким. И я перебил его другим: – Как Марья?

– Ничего, – ответил Вадим.

Да, разговора не получалось.

Он стоял передо мной, враз подросший, не улыбочивый парень, как будто и не очень знакомый со мной.

На Вадиме были серые штаны и серая рубаха, неизвестные мне, видать детдомовские. Странное дело, они еще больше отделяли Вадима от меня.

И еще мне показалось, словно он чувствует какую-то неловкость. Словно он в чем-то виноват, что ли? Но в чем? Какая глупость!

Просто я жил в одном мире, а он существовал совсем в другом.

– Ну, я пошел? – спросил он меня.

Странно. Разве такое спрашивают?

– Конечно, – сказал я. И пожал ему руку.

– Будь здоров! – сказал он мне, мгновение смотрел, как я иду, потом решительно повернулся и уже не оглядывался.

С тех пор я его не видел.

В здании, которое занимал детский дом, расположилась артель, выпускавшая пуговицы. В войну ведь и пуговиц не было. Война кончилась, и срочно понадобились пуговицы, чтобы пришивать их к новым пальто, костюмам и платьям.

* * *

Осенью я пошел в четвертый класс, и мне снова выдали талоны на дополнительное питание.

Дорогу в восьмую столовку приукрасила солнечная осень – над головой качались кленовые ветви, расцвеченные, точно разноцветными флажками, праздничными листьями.

Многое я теперь видел и понимал по-другому. Отец был жив, и хотя еще не вернулся, потому что шла новая война, с японцами, это уже не казалось таким страшным как все, что минуло. Мне оставалось учиться всего несколько месяцев, и – пожалуйста – в кармане свидетельство о начальном образовании.

Все растет кругом. Деревья растут, ну и маленькие люди – тоже, у каждого сообразительности прибывает, и все меняется в наших глазах. Решительно все!

Осень стояла теплая, раздевать и одевать народ не требовалось, и тетя Груша выглядывала из своего окошка черным, антрацитовым глазом просто так, из чистого любопытства, тотчас опуская голову, – наверное, вязала.

И вообще народу в столовке стало меньше. Никто почему-то не толкался в тот час.

Я спокойно получил еду – опять славная, во все времена вкусная гороховица, котлета, компот, – взялся за ложку и, не оглядываясь по сторонам, брэнчал уже о дно железной миски, как напротив меня возник мальчишка.

Война кончилась, слава богу, и я уже все забыл – короткая память. Мало ли отчего мог появиться тут пацан! Я совершенно не думал о таком недалеком прошлом.

На виске у мальчишки вздрагивала, пульсировала синяя жилка, похожая на гармошку, он смотрел на меня очень внимательно, не отрывая взгляда, и вдруг проговорил:

– Мальчик, если можешь, оставь!

Я опустил ложку...

Я опустил ложку и посмотрел на пацана. «Но ведь война кончилась!» – хотел сказать, вернее, хотел спросить я.

А он глядел на меня голодными глазами.

Когда так смотрят, язык не поворачивается.

Я промолчал. Я виновато подвинул ему миску, а вилкой проделал границу ровно посередине котлеты.

* * *

Да, войны кончаются рано или поздно.

Но голодуха отступает медленнее, чем враг.

И слезы долго не высыхают.

И работают столовки с дополнительным питанием. И там живут шакалы. Маленькие, голодные, ни в чем не повинные ребятишки.

Мы-то это помним.

Не забыли бы вы, новые люди.

Не забудьте! Так мне велела наша учительница Анна Николаевна.

* * *

Это все правда. Все это было.

Комментарии

Последние холода. – Впервые в журнале «Юность», 1984, № 2. Вошла в книгу «Магазин ненаглядных пособий» (М., «Детская литература», 1984). Удостоена премии имени Бориса Полевого, присуждаемой редакцией журнала «Юность».

«Как бы ни тяжелы были годы войны для Коли и Витьки Борецкого, для Вовки Крошкина и для их учительницы Анны Николаевны, для всех героев повестей «Последние холода», «Магазин ненаглядных пособий» и «Кикимора», годы эти остались годами доброты и справедливости, надежды и правды, – пишет заслуженная учительница школы РСФСР И. Лопатина. – Вместе с героями книг А. Лиханов заставляет нас возвратиться в свое детство, задуматься над тем, как навсегда сохранить человеку в своей душе то, что ему дано от рождения, – высокое чувство доброты, совести, человечности. И книги Лиханова, его герои помогают нам в этом.

Герои его книг, пережив тяжкие испытания, сохраняют в себе лучшие человеческие начала. Лиханов открывает закон сохранения этих начал благодаря наличию в человеке высшего чувства сострадания и сопереживания чужой боли».